В. Львов-Рогачевский

Русско-еврейская литература

С вводной статьей Б. Горева

Новая Москва
1922

Д. Мельников 1922

В. ЛЬВОВ-РОГАЧЕВСКИЙ

РУССКО-ЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

С ВВОДНОЙ СТАТЬЕЙ Б. ГОРЕВА

„РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЕВРЕИ“

МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОСКВА 1922

Отпечатано в 5-й типо-
литограф. „Мосполиграф",
МСНХ., в количестве
3000 экземпл.

Б. ГОРЕВ.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЕВРЕИ.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЕВРЕИ [1]).

I.

Еврейские националистические писатели неоднократно констатировали своего рода антисемитскую традицию в русской литературе, от Пушкина до Чехова. Некоторые из них в недоумении останавливаются пред тем фактом, что гуманная по своим идеалам и задачам русская литература лишь в евреях не видела людей и изображала их только или в смешном или в отвратительном виде.

В такой общей и категорической форме это утверждение не верно, во всяком случае односторонне, узко, хотя значительная доля истины в нем есть. Но, не делая ни малейшей попытки дать объяснение этому явлению, анализировать его с широкой исторической точки зрения, авторы подобных утверждений лишь играли на руку узкому еврейскому национализму и бросали ложный свет на дорогие и для еврейской демократии лучшие традиции русской литературы.

Прежде всего русская литература не есть нечто целое, однородное. Стоит разделить ее на периоды, соответственно разным эпохам русской общественной жизни, и тогда уже выяснятся коренные различия *даже в отрицательном* отношении к евреям, в самом подходе к вопросу, не говоря уже о том, что такое деление, при первой же попытке от общих фраз перейти к конкретному изучению истории русской литературы даст серьезные трещины в самом утверждении об „антисемитской традиции“. Но, главное, нельзя же трактовать такой сложный вопрос, забывая, что в

---

[1]) Настоящая статья воспроизводит, в несколько исправленном и дополненном виде, брошюру, изданную в 1917 г.

течение столетнего существования новой русской литературы менялся и *объект* этой антисемитской традиции, эволюционировало и дифференцировалось то еврейство, с которым сталкивалась русская литература. И только принимая во внимание взаимодействие *обоих* этих факторов, изменения в русской общественности и эволюцию самого еврейства, можно действительно понять отношение русской литературы к евреям, а не разводить лишь недоуменно руками или даже злобно хихикать, как еще недавно делали сионисты по поводу „антисемитской традиции".

Несомненно, так называемая *классическая* русская литература,—Пушкин, Гоголь, Тургенев, Достоевский,—в тех редких случаях, когда они изображали евреев, относились к ним в общем и целом резко отрицательно. И даже у Лермонтова, который, благодаря своей юношеской драме „Испанцы", кажется одиноким исключением, можно найти места, где проглядывает „традиционное" отношение к евреям („Маскарад"). И хотя, наоборот, у Пушкина есть намек на иную, не шаблонную трактовку предмета („Начало повести"), все же жид из „Скупого рыцаря", „презренный еврей" из „Черной шали" Пушкина, гоголевский Янкель, тургеневский „шпион" и еврей-каторжник у Достоевского, действительно на первый взгляд производят впечатление чего-то однородного [1]) и вызывают вопрос, почему гуманистическая русская литература видела в евреях одни лишь отрицательные стороны, не вступалась за попранную в них человеческую личность, как это делали европейские гуманисты всей новейшей истории, не создала своей Бичер-Стоу. Это вопрос очень сложный, и ответ на него тоже не может быть простым, так как он слагается из ряда самостоятельных, хотя и связанных между собой исторических факторов.

Прежде всего между гуманизмом европейским и русским имеется *коренное*, *принципиальное* различие. Европейский гуманизм—продукт *городской буржуазии*. Он

---

[1]) Именно только на первый взгляд. У Исая Фомича из „Мертвого дома" есть и добродушие и наивная любовь к искусству. О Янкеле нам придется еще говорить подробнее

борется против власти феодального дворянства и клерикализма, против средневекового невежества и предрассудков. А для городского буржуа—еврей-торговец, даже еврей-ростовщик не только понятен и близок по духу, но они часто встречаются на деловой почве, бывают даже компанионами. Кроме того их объединяет ненависть к католическому духовенству. Уже Шекспир дал в своем Шейлоке, по мнению некоторых критиков, апологию еврейства, историческое оправдание его отрицательных черт [1]). Германский гуманизм выставил Лессинга с его Натаном Мудрым, а один из величайших гуманистов буржуазии XIX века—Диккенс дал изумительный тип благородного и безкорыстного еврея в „Нашем общем друге“ (на-ряду с негодяем из „Оливера Твиста“). Все буржуазные партии, начиная с Великой Французской Революции, выставляли одним из своих освободительных лозунгов равноправие евреев.

Полную противоположность европейскому буржуазному гуманизму представляет гуманизм классической русской литературы. Проникнутая любовью к человеку и человечеству, беря под свое покровительство „униженных и оскорбленных“,—эта литература в то же время *дворянская* по преимуществу, так как только дворянство в первой половине прошлого столетия имело доступ к европейскому просвещению, к выработанным Западной Европой идеалам человечества; только в этом сословии могли воспитываться люди, высоко поднимавшиеся над суровой российской действительностью.

Но дворянское происхождение накладывало на эту литературу особые черты, из которых для нас важно пренебрежительное, даже презрительное и враждебное отношение к *городу*, к городским промыслам, к „купцу“,

[1]) Вот знаменитое место из монолога Шейлока: „Разве у жида нет глаз? Разве у жида нет рук, органов, членов, чувств, привязанностей, страстей? Разве он не ест ту же пищу, что и христианин? Разве он ранит себя не тем же оружием и подвержен не тем же болезням? Лечится не теми же средствами?.. Когда вы нас отравляете, разве мы не умираем? а когда вы нас оскорбляете, почему бы нам не хотеть отомстить вам? Если мы похожи на вас во всем остальном, то хотим быть похожи и в этом“.

к нарождающейся буржуазии [1]. А евреи представляли из себя квинт-эссенцию этой буржуазии, концентрировали в себе, как в фокусе, все отрицательные для дворянства особенности городской жизни. Неудивительно, что в дворянской литературе не могло быть симпатий к евреям.

Кроме того не надо забывать, что если евреи, по выражению Маркса, жили „в порах польского общества", то для русского общества они были далекой периферией, с которой сталкивалось офицерство и чиновничество лишь во время своей кратковременной службы на западных и юго-западных окраинах России. И до них ли, до их ли бесправия было гуманистической русской литературе, когда у нее под боком, в коренной России жило в крепостной зависимости, почти в рабстве 20 миллионов русских, православных; когда эта „крещеная собственность" вопияла к небу, отравляя покой всех лучших русских людей, начиная от Радищева, продолжая декабристами и Пушкиным и кончая аннибаловой клятвой Тургенева и Герцена. Вот куда было направлено внимание классической русской литературы, вот о ком заботились русские Бичер-Стоу.

Неудивительно поэтому, что русские писатели классической эпохи проявляли так мало знакомства с еврейской жизнью и душой. Это недостаточное знакомство характерно для русской литературы и позднейшего периода, и в этом отношении она невыгодно отличается от литературы польской. В Польше евреи жили действительно „в порах" общества, польская интеллигенция сталкивалась с ними давно и на каждом шагу, и потому у таких писателей, как Мицкевич, а впоследствии Болеслав Прус, особенно же Элиза Ожешко и Конопницкая, есть попытки проникнуть *в душу* еврея, найти под внешней традиционной оболочкой идеалистическое содержание. Но и польским писателям не удалось обрисовать наиболее

[1]) Вот это, действительно, *настоящая* традиция русской литературы, от Пушкина до Толстого. Исключение представляет Достоевский, но и он — сам разночинец—дал лишь тип столичного разночинца, а не купца.

характерные черты еврейского идеализма: черты религиозного вдохновения и мученичества; они не видели тех тихих драм, которые происходили на почве похищения детей у родителей для отдачи в кантонисты, всех ужасов, переживавшихся еврейством во время периодических погромов и „наветов крови“. Еще меньше, конечно, знали об этом и интересовались такими явлениями русские писатели, видевшие в евреях лишь их отрицательные стороны, их смешные внешние ухватки, их, выражаясь по-крыловски, „рыбьи пляски“. Обо всем этом поведали русской читающей публике только много, много лет спустя писатели из евреев, и только с их появлением для имеющих уши, чтобы слышать, открылась возможность познакомиться с внутренней жизнью этого загадочного для многих, таинственного, замкнутого народа.

Вот эта замкнутость национальной жизни евреев, сама в свою очередь явившаяся историческим последствием вековых преследований, и была главной причиной одностороннего или ложного освещения еврейского национального характера. В замкнутых общественных организмах, будь это целый народ, как японцы прежнего времени и китайцы, или же преследуемая религиозная секта, в силу естественного инстинкта самосохранения, вырабатываются, при столкновении с внешним, чуждым и враждебным миром, специфические черты довольно отталкивающего свойства,—хитрость, плутовство и т. д., при чем носителями этих свойств являются именно те индивидуумы, на долю которых почему-либо выпадает вступать в общение с этим внешним миром. Первое впечатление у путешественников при столкновении с каким-либо народом или племенем, живущим замкнутой жизнью, обыкновенно крайне невыгодно для него, и лишь долгое, объективное и добросовестное изучение этого народа, при условии завоевания доверия с его стороны, заставляет часто радикально изменить первые поспешные выводы и обобщения. Чтобы недалеко ходить за примерами, вспомним впечатление, вынесенное от поверхностного знакомства с японцами Гонча-

ровым, и записки капитана Головина, проведшего два года в плену в Японии в начале XIX века и восторгавшегося характером японцев и их культурой.

К евреям все это применимо в гораздо большей степени, чем к кому бы то ни было, так как века преследований выработали в них, кроме мучеников, очень распространенный тип *приспособляющихся* к суровому внешнему миру, к миру грубой силы, который они презирают, но пред которым по видимости преклоняются и который стремятся использовать в своих материальных интересах. И в самом деле, какой тип еврея попадал в поле зрения классической русской литературы, был единственным объектом наблюдения для писателей эпохи крепостного права? Местечковый литовско-малорусский еврей-фактор, подличающий пред паном, способный на самые гнусные поступки. Тургеневский шпион, пушкинский „презренный еврей“, может быть, живые люди. Но разве *они* характерны для тогдашнего еврейства в целом, разве они дают понятие о его внутренней жизни, высокой моральной дисциплине масс, высоком, хотя узком и нетерпимом, идеализме тогдашней, по преимуществу религиозной, интеллигенции? Вся эта подлинная жизнь еврейства оставалась для русской интеллигенции книгой за семью печатями, и она не имела ни своих Ливингстонов, которые бы смогли и пожелали проникнуть в эту внутреннюю Африку, ни даже капитанов Головиных, которые бы случайно попали надолго в этот чуждый им мир. Впоследствии Салтыков мог рекомендовать русской публике для ознакомления с этим миром только рассказ *польской* писательницы („Могучий Самсон“ Элизы Ожешко): „Те, которые хотят знать, сколько симпатичного таит в себе замученное еврейство, и какая неистовая трагедия тяготеет над его существованием,— пусть обратятся к этому рассказу, каждое слово которого дышит мучительною правдою“.

Впрочем, евреи не представляют в этом отношении исключения. Много ли сделала русская литература для изучения других „инородцев“, населяющих Россию? Правда, воинственные кавказские горцы своим

романтизмом заслужили внимание таких писателей, как Пушкин, Лермонтов, Марлинский, даже Толстой. Но что мы знали о финляндцах („чухоночку“ Баратынского, конечно, всерьез брать не приходится), армянах и других народах, до появления переводов их собственных писателей? И разве „армяшка“ до сих пор в известных кругах не является часто такой же или почти такой же презрительной кличкой, как жид?

Отдельное место в классической русской литературе занимает *гоголевское* отношение к евреям: как потому, что оно немало способствовало выработке традиционного взгляда на евреев среди масс не сталкивавшейся с ними интеллигенции и внушало ненависть к евреям длинному ряду поколений школьников, так и потому, что само оно явилось результатом реальных особенностей социальной истории Украйны. Корчмари и арендаторы, снимавшие в аренду даже церкви, украинские евреи вызывали часто острую ненависть крестьянского и казачьего населения. Но эти ненавистные арендаторы, как это окончательно установлено новейшими историческими исследованиями, были лишь агентами польских магнатов, действительных социальных хозяев Украйны. Именно они, эти магнаты получали львиную долю и с шинков, и с аренды церквей, и со всех налогов, отягощавших население, предоставляя своим агентам-евреям мизерное вознаграждение и... периодические погромы, вроде описанного в „Тарасе Бульбе“.

Таким образом средневековая нелюбовь к „врагам Христовым“ нашла в Украине удобную почву в тогдашних социальных отношениях. Понятно, что Гоголь, всосавший эти чувства с молоком матери, стал их ярким литературным выразителем. Но при этом характерно, что и в знаменитом гоголевском Янкеле есть определенные положительные черты (благодарность, верность слову и т. д.), проскользнувшие, несомненно, помимо сознания художника, но свидетельствующие *против* ходячего мнения о готовности евреев становиться предателями за деньги и, вероятно, отражающие тот исторический факт, что еврейская

беднота сочувствовала больше угнетаемым украинцам, чем своим хозяевам-полякам.

Вообще же, средневековый уклад русского общества, в значительной мере сохранившийся до революции, вызывал как в народе, так и в литературе, и средневековое, т.-е. клерикальное и антигуманистическое отношение к евреям, способствовал живучести той средневековой традиции, того „предания", о котором писал Салтыков, что для его упразднения „необходимо, чтобы человечество окончательно очеловечилось". Там, где верят в колдунов и ведьм, в леших и домовых, очень легко поверить даже в употребление евреями христианской крови. Это наше средневековье, вместе с отсутствием или недостатком собственных наблюдений над жизнью евреев, объясняет и то, что наши классики искали материала для еврейских типов в *европейском* средневековье. Отсюда и пушкинский жид из „Скупого рыцаря" и благородные испанские евреи Лермонтова [1]).

II.

После крымской войны, с началом раскрепощения России, изменилось и положение евреев. Никакие „права" в юридическом смысле слова им не были даны, но некоторые категории их получили возможность выйти из своего литовско-украинского гетто и поселиться в коренной России, главным образом, в Петербурге, где раньше могли лишь жить отставные солдаты. Конечно, первое место среди этих счастливцев занимали богатые финансисты, в деньгах и экономической подвижности которых нуждалась просыпающаяся к новой экономической жизни Россия.

Пришли 60-е и 70-е годы, началась эпоха спекуляции, постройка железных дорог, образование акционерных компаний и банков. Во всех этих предприятиях играли крупную роль основатели еврейских

---

[1]) Упомянутый выше черновой отрывок Пушкина „Начало повести", где с явным сочувствием изображается еврейская семья, как жертва какой-то драмы, по всей обстановке, несомненно, тоже рисует европейское средневековье.

финансовых династий, все эти Поляковы, Варшавские, Гинцбурги и т. д. Таким образом пред коренной русской публикой, перед массой новой русской интеллигенции евреи впервые появились на широкой общественной сцене, как представители *крупного* и притом *банковского* капитала. Но крупный капитал никогда не пользовался симпатиями прогрессивной русской публики: у нас, как известно, вплоть до начала нынешнего столетия не было сколько-нибудь проявившей себя прогрессивной буржуазии, которая хоть в малой степени напоминала бы европейскую в пору ее юности, в эпоху ее „Sturm und Drang“ периода [1]). Наши доморощенные Колупаевы и Разуваевы, наше всероссийское Замоскворечье слишком хорошо известны, чтобы нужно было это положение доказывать.

И прогрессивной русской литературе 60-х и 70-х г.г., той литературе, которая была властительницей дум,— капитал, а особенно финансовый, грюндерский, тот, который бросается в глаза, был глубоко антипатичен. Но в отсталых экономически странах носителями этого капитала являются обыкновенно иностранцы или инородцы, почему он кажется еще более паразитическим, и почему идейная борьба с ним принимает часто в таких странах *национальную* форму, форму неприязни к иностранцам и инородцам. Ярким примером такого отношения к финансовому капиталу может служить любимец русской прогрессивной интеллигенции—*Некрасов*, который не замечал национального *промышленного* капитала, стоявшего во главе в то время уже огромного текстильного производства в Московской и родных ему Ярославской и Костромской губерниях, но который охотно бичевал всяких подрядчиков, концессионеров и банкиров.

В его „Современниках“ собрана великолепная коллекция капиталистических акул эпохи первоначального накопления: тут и отечественные столпы из крестьян и дворян, и инородцы, и состоящие у них на службе профессора.

---

[1]) Период „Бури и натиска“.

Будешь в славе равен Фидию,
Антокольский! Изваяй
Гарантию и Субсидию,
Идеалам форму дай!
Окружи свое творение
Барельефами: толпой
Пусть идут на поклонение
И ученый и герой:
Пусть идут израильтяне,
И другие пришлецы,
И российские дворяне,
И моршанские скопцы.

Среди них инородцы выделены особо.

Сидели тут рядом тузы-иноземцы:
Остзейские, русские, прусские немцы,
Евреи и греки и много других—
В Варшаве, в Одессе, в Крыму, в Петербурге
Банкирские фирмы у них —
На аки, на раки, на борги и бурги
Кончаются прозвища их.

Но с наибольшим презрением, доходящим даже до передразнивания в стихах еврейского акцента, относится поэт к евреям-банкирам. Из разных групп капиталистов евреям посвящается больше всего места; слово жид попадается на каждом шагу. Русские хищники умеют хоть напускать на себя иногда покаянный дух. Евреи даже понять этого не могут.

Впрочем, родоначальники еврейских финансовых династий, сразу из положения последних париев, способных только на унизительное заискивание пред властью, попавшие в ранг людей, имевших сами большую власть и влияние, представляли, вероятно, зрелище далеко не симпатичное.

И если Некрасов, забывавший про еврейство Антокольского, но помнивший еврейство Полякова, выражал лишь непосредственное чувство антипатии к инородческому капиталу в России, то два других властителя дум, тоже дворяне, жившие в самом центре капиталистической Европы—Лондоне, разочарованные и в европейской буржуазии и в европейском социализме, противопоставляли этой разлагающейся, мещан-

ской Европе самобытную русскую общину и от нее ждали обновления старого мира. Это были *Герцен* и особенно *Бакунин*. При этом самым ярким выразителем европейского капитализма был и для них еврейский капитал, на этот раз в общеевропейском масштабе, в котором как бы сконцентрировались все характерные черты капитализма вообще. Тогда еще не было Рокфеллеров и Морганов, не было современных гигантских трестов, и Ротшильды—теперь пигмеи в сравнении с ними—казались тогда живым воплощением интернационального капитала.

И даже тот европейский социализм, с которым боролся Бакунин, выступил для них в германско-*еврейском* виде, в лице Лассаля и ненавистного им Маркса, и казался лишь обратной стороной все того же еврейского капитализма.

Если у Герцена мы находим лишь робкие намеки этого настроения (так, он Ротшильда называл „царь иудейский"), то Бакунин выступал уже, как определенный и даже вульгарный антисемит. Он считал всех евреев эксплоататорами и паразитами и видел в них лишь одни недостатки. Все евреи, к каким бы партиям они ни принадлежали (разумеется, в Европе), связаны между собою общностью интересов и только этим интересам и служат. Маркс, по его словам, был окружен целой „сворой жидков", и эти „жидки" были способны на всякую низость. „*Я убежден, что, с одной стороны, Ротшильды ценят заслуги Маркса, а с другой, Маркс чувствует инстинктивное влечение и глубокое уважение к Ротшильдам*".

Этот антисемитизм Бакунина, которым он, пожалуй, перещеголял большинство позднейших русских антисемитов правого лагеря, несомненно объясняется его дворянским и офицерским воспитанием и юношескими впечатлениями в местечках Западного края.

Но уже в начале этой эпохи, в то время, как стоявшие на противоположных полюсах Бакунин и Достоевский с разных точек зрения создавали теорию славянофильского мессианизма, при чем Достоевский

явился уже откровенным основоположником новейшего антисемитизма почти нововременского толка,— раздался в русской литературе новый голос, который и о евреях сказал воистину *новое* для России слово. Это был Чернышевский, величайший представитель *антидворянской,* разночинной, плебейской литературы, истинный родоначальник русской демократической мысли, кумир нового фактора русской общественной жизни,—студенческой молодежи. В своем знаменитом романе „Что делать?“ он вывел, в качестве эпизодического типа, еврейку—мелкую торговку и при этом уже в начале 60-х г.г. успел подметить такую положительную черту в евреях, успел заглянуть им в душу с такой стороны, что и тут, как и во многом другом, далеко опередил свое время.

„Вера Павловна... послала Машу... к торговке старым платьем и всякими другими вещами под стать Рахили, одной из самых оборотливых евреек, но доброй знакомой Веры Павловны, *с которой Рахиль была безусловно честна, как почти все еврейские мелкие торговцы и торговки со всеми порядочными людьми*“ (стр. 181, курсив мой). И в дальнейшем Рахиль подтвердила данную ей характеристику.

Если вспомнить, что под „порядочными людьми“ на эзоповском языке того времени разумелись люди решительного прогресса, радикалы, революционеры, то в этом замечании Чернышевского мы находим, с одной стороны, отграничение евреев „мелких торговцев“ от крупных хищников, т.-е. дифференциацию, которой современники его еще не видели, а с другой,—и это наиболее характерно,—совершенно правильное указание на сочувствие еврейской мелкой буржуазии русским радикалам, сочувствие, впоследствии выявившееся очень ярко.

И это тем более удивительно, что и для Чернышевского, в сущности, *еврейского вопроса в России,* как такового, еще не существовало. Но его необыкновенный ум, его моральная чуткость и чувство справедливости заставили его в своем романе отозваться—

как всегда, оригинально и умно—и на этот вопрос, которому впоследствии пришлось приобрести такой жгучий характер.

III.

Начало раскрепощения России немедленно отозвалось также и на еврейском гетто. И в нем начался процесс духовного раскрепощения, процесс освобождения из-под ферулы раввинов, из-под власти собственных мракобесов. В узкую щель, открывшуюся для евреев с началом царствования Александра II, хлынули не только банкиры, хлынула лучшая и способнейшая часть еврейской молодежи, изнывавшей до сих пор над талмудом, изощрявшей свой ум над тонкостями средневековой схоластики. В жадных поисках „светского“ просвещения, которое соединялось для них тогда с русским языком и русской литературой, молодые люди убегали из хедеров и ешиботов, бросали родных и устремлялись в большие города „черты оседлости“, как Вильна или Одесса, где усаживались за русскую грамоту и быстро усваивали все лучшее, что могла им дать русская литература, через нее приобщаясь и к общеевропейской цивилизации. Эта волна, на-ряду с потомками крещеных евреев, дала России таких мировых гениев, как Рубинштейн и Антокольский, дала русской литературе Минского и Надсона, русской демократии—Дейча, Аксельрода, Натансона и многих других.

Правда, эта „ассимилированная“, как потом стали говорить, ушедшая от еврейской массы, впитавшая в себя лучшие традиции русской литературы еврейская интеллигенция, хотя и должна была внести значительную поправку в представление русского прогрессивного общества о русском еврействе,—все же могла казаться исключением по своим моральным качествам. Отдельные представители ее, как Давид из романа Степняка „Андрей Кожухов“, не разрывали своей связи с народом и даже свое участие в работе русской демократической интеллигенции объ-

ясняли желанием помочь полному раскрепощению России для уничтожения и еврейского бесправия. Большинство же тогдашней еврейской интеллигенции совершенно слилось с русской, совершенно денационализировалось.

И только с появлением, в конце 70-х и начале 80-х годов, русско-еврейских писателей-беллетристов (как Леванда, Богров и др.), описавших *быт еврейской массы*, ее повседневную жизнь, ее горести и глубокие драмы, ее стремления и идеалы,—только с этих пор, как мы уже говорили, русская читающая публика получила, наконец, источник, из которого она могла при желании почерпнуть хоть некоторые сведения о *действительной* внутренней жизни еврейства. Исчезла таинственная завеса, скрывавшая от русской публики загадочный еврейский кагал, обнаружилась ужасающая беднота широких еврейских масс.

К этому присоединилось усиление реакции и связанная с ней эпидемия еврейских погромов 1881—1882 г.г., вызвавшая все жуткие призраки европейского средневековья и украинской гайдамачины. Правда, среди тогдашних революционеров, эпигонов народовольчества, нашлись легкомысленные и неразборчивые в средствах люди, которые попытались было использовать еврейские погромы, как начало новой разиновщины или пугачевщины. Но это чудовищное соединение радикализма с еврейскими погромами было явлением случайным, кратковременным и не оставило по себе никаких следов. Для всей прогрессивной русской интеллигенции с этого времени возникает новый вопрос, вопрос еврейский, тесно связанный с общим развитием России. По отношению к евреям, в отличие от прежних эпох, вся русская литература резко делится на два враждебных лагеря: прогрессивный и реакционный или антисемитский; и в прогрессивной, главным образом, народнической литературе уже не может встречаться то отношение к евреям, которое мы видели в классической, вообще дворянской литературе.

И если у величайшего писателя той эпохи—Салтыкова мы еще встречаем в его прежних произведениях некрасовское отношение к евреям, выделение еврейской плутократии, как особенно отвратительной, то в начале 80-х г.г. он уже подходит к еврейскому вопросу со всей подобающей ему серьезностью и разрешает его в духе европейского гуманизма и демократии.

В появившейся в 1882-м году в „Отеч. Записках“ статье „Июльские веянья“, из которой мы уже приводили некоторые цитаты, он, между прочим, указывая на смешной облик еврея и его произношение, как на один из поводов, оправдывающих человеконенавистничество, пишет:

„Что, еврей, губами мнешь?“—Дурака шашу!

То ли дело Дерунов с Колупаевым! Никогда они не скажут: „шашу“, прямо отчеканят: „сосу дурака“,—и шабаш! И правильно, и для потехи резонов нет: слушай и трепещи!“

И дальше: „Кому же, однако, приходило в голову указывать на Разуваева, как на определяющий тип русского человека? А Разуваева-еврея непременно навяжут всему еврейскому племени и будут при этом на все племя кричать: ату! Но для Дерунова-еврея есть даже смягчающее обстоятельство: он чаще всего сосет вотще. Ибо как только он начинает насасываться досыта, так тотчас на него налетает ревизия: показывай, жид, что у тебя в потрохах? И всякий, кому не лень, берет оттуда часть. Как все-то разберут—много ли останется?“

В течение мрачных 80-х и части 90-х годов догорало старое народничество в литературе, вырос талант нового гуманиста Короленко, расцвел тип восьмидесятников, „пестрых людей“, с их бытописателем Чеховым, наконец, раздался первый крик протеста буревестника Горького. А отдельно возвышалась громада Толстого, современника трех эпох,—с его не то христианско-буддийской, не то подлинно анархистской философией.

В то время, как народники (Мачтет в своем „Жиде“, Мельшин в еврее докторе „Из мира отверженных“ и др.) давали апологию еврейской интеллигенции, часто тенденциозную и доходящую даже до слащавости, а Короленко дарил и евреев мягкими лучами своего любвеобильного таланта („Судный день“, „Без языка“),— Чехов попытался подойти к евреям со всей присущей ему объективностью, при чем брал свои типы, как всегда, из среды самых будничных людей, среди первых встречных. Чехов пользуется у еврейских националистов славой антисемита, и он заслуживает того, чтобы на нем остановиться подробнее.

Начав свою литературную деятельность в „Новом Времени“ и бульварных юмористических журналах, он, вероятно, на всю жизнь сохранил следы чисто физической антипатии к внешним особенностям евреев, хотя именно дело еврея Дрейфуса послужило поводом к окончательному разрыву его с Сувориным и вообще нововременской кликой. Этим, может быть, объясняется, что и Чехов не свободен от традиционного описания *внешности* изображаемых им евреев: почти у всех у них одинаково смешные манеры и ухватки, напоминающие гоголевского Янкеля, все почему-то проявляют свой еврейский акцент, меняя русские окончания на *е* („снимать шапке“, „смотрят, как на собаке“) и т. д. Впрочем, такие же упрощенные способы изображения встречаются у Чехова и при характеристике других „инородцев“, не исключая даже малороссов. Таков „чухонец или швед“ в „Тифе“, который на каждом шагу говорит „га!“ и при этом „идиотски-широко улыбается“, такова хохлушка в „Человеке в футляре“, со своим стереотипным „ах же, Боже ж мой“, по поводу которой мы находим у Чехова даже такое обобщение: „хохлушки только плачут или хохочут, среднего же настроения у них не бывает“.

Зато с внутренней, моральной стороны еврейские типы Чехова представляют большое разнообразие и свидетельствуют о полном отсутствии определенного шаблона и враждебной предвзятости у автора, или,

по крайней мере, о стремлении добросовестно эту предвзятость преодолеть. Так, в „Степи“ мы видим рядом с типичным корчмарем Моисей Моисеичем его брата, чудака-протестанта Соломона, который сжег в печке полученные в наследство на свою долю 6000 рублей, потом рассказывал в балаганах на ярмарке анекдоты из еврейского быта, а теперь служит лакеем у брата, презирает и ненавидит всю окружающую среду как евреев, так и „панов“, и всем говорит в глаза горькие истины. „Вы видите: я лакей. Я лакей у брата, брат лакей у проезжающих, проезжающие лакеи у Варламова, а если б я имел денег 10 миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем... потому что нет такого барина или миллионера, который из-за лишней копейки не стал бы лизать рук у жида пархатого. Я теперь жид пархатый и нищий, все на меня смотрят, как на собаке, а если бы у меня были деньги, то Варламов предо мной ломал бы такого дурака, как Моисей пред вами“. И на вопрос собеседников: „Как же ты, дурак этакой, равняешь себя с Варламовым?“ он отвечает, „насмешливо оглядывая своих собеседников“: „Я еще не настолько дурак, чтобы равнять себя с Варламовым... Варламов хоть и русский, но в душе он жид пархатый, вся жизнь у него в деньгах и в наживе, а я свои деньги спалил в печке. Мне не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы, и не нужно, чтобы меня боялись и снимали шапки, когда я еду. Значит, я умней вашего Варламова и больше похож на человека!“

Далее, если в „Тине“ пред нами еврейка-хищница и в то же время вакханка, то в „Перекати-поле“— еврейский юноша, гонимый каким-то духом беспокойства, какой-то тоской, стремящийся к знанию, привязывающийся, как ребенок, к первому попавшемуся интеллигентному человеку, который не брезгает разговаривать с ним. Он бежал от родных, принял православие, сам веря в искренность своего поступка; но его гложет тоска по родным и угрызения совести. Он мечтает о месте учителя, о своем угле, опреде-

ленном положении, „определенной пище на каждый день“. Сам же автор думает, „что этот человек никогда не будет иметь ни своего угла, ни определенного положения, ни определенной пищи“. В то же время, конечно, автор, подмечает в нем „толстые губы, и манеру во время разговора приподнимать правый угол рта и правую бровь, и тот маслянистый блеск глаз, который присущ одним только семитам“...

Наконец, Сарра в „Иванове“ бесконечно выше всей окружающей ее среды. Если не считать молоденькой Саши, она — единственный человек, к которому несомненно склоняются все симпатии автора. Беззаветно любящая, бескорыстная, способная на жертвы, она не имеет ни одной черты, которую обыкновенно приписывают евреям. Особенно резко напрашивается сравнение ее с женой председателя земской управы, жадной и скупой ростовщицей. А как травит Сарру вся эта подлая, глупая или жалкая среда! Даже привязанный к ней приживалец граф Шабельский дразнит ее гнусными антисемитскими поговорками, говорит с ней с утрированным еврейским акцентом. Даже муж ее, бывший идейный человек, женившийся на ней по любви и проживший с нею пять лет,—в момент брошенного ему, под влиянием ревности, оскорбления кричит больной жене: „Жидовка!“

Толстой, последний одинокий представитель блестящей дворянской плеяды художников-беллетристов и в то же время самый резкий антагонист городской культуры, превратившийся на старости из барина в мужика и оставшийся верным *деревне* и ее идеалам, никогда не изображал евреев, которые несомненно были ему *эстетически* антипатичны. Как видно из опубликованных несколько лет назад черновых вариантов двух глав „Воскресения“, Толстой сделал было попытку дать тип еврея-революционера в лице политического ссыльного, „твердого, умного и мрачного еврея Вильгельмсона“, при чем самая фамилия указывает,

до какой степени Толстой был незнаком с евреями. Более подробной характеристики этого еврея мы не находим. Вильгельмсон и есть, очевидно, первоначальный набросок прекрасного и оригинального юноши Симонсона в окончательной редакции „Воскресения“. У этого Симонсона, в его строгой принципиальности и педантичной систематичности, есть что-то нерусское, не славянское, и это подтверждает и фамилия, германская или английская. Но характерно, что всякое упоминание о *еврействе* его художник тщательно вытравил, очевидно, чувствуя, что тип еврея ему не удастся.

А с точки зрения моральной философии Толстого для него, конечно, отдельного еврейского вопроса не существовало: он сливался с вопросом общечеловеческим, с вопросом устроения „правильной“, с точки зрения облагороженного мужицкого идеала, жизни,— путем нравственного самосовершенствования. Он выступал в защиту евреев, как он это делал по отношению ко всем преследуемым, но делал как бы по чувству долга. Души его они не задевали.

IV.

Новая полоса в отношениях русской литературы к евреям, *качественно* резко отличная от всех предыдущих, возникает в начале 900-х г.г., с появлением на русской исторической арене еврейской *демократии*,— еврейских рабочих. Раньше презрение к евреям последовательно сменялось лишь жалостью; о жалости к ним просил Салтыков; даже Горький в „Каине и Артеме“ ничего, кроме жалости к еврею, не вызывает, и его Каин может существовать только благодаря капризному покровительству сильного босяка Артема.

Теперь же евреи *впервые* из объекта разных воздействий, из объекта презрения или жалости сами становятся *субъектами*, деятельным фактором русской истории, самостоятельно борясь в массе за свою и общерусскую свободу, проявляя при этом нередко подлинный героизм.

И в соответствии с этим евреи — притом не в виде абстрактного исторического понятия, как у В. Соловьева, а конкретные русские евреи, дети ремесленников и мелких торговцев, „парии из париев“ — начинают вызывать совершенно новое чувство у прогрессивных русских писателей: жалость, по существу очень похожая на презрение, только окрашенная в цвет сочувствия, заменяется *уважением*. И вместе с уважением левого крыла литературы возникает в правом стане непримиримая, неугасимая ненависть к евреям именно за их массовое участие в освободительном движении. А все это способствует углублению русской литературы *в душу* еврея из народа, способствует созданию типов, качественно, принципиально отличающихся от старого шаблона.

В „Евреях“ Чирикова, произведении, правда, не блещущем особенными художественными достоинствами, даны все же, хотя и в схематическом виде, разные типы евреев из народа. Среди них, на-ряду с представителями традиционного мировоззрения, сторонниками молчаливого терпения и пассивности, мы встречаем уже борцов: истерического сиониста Нахмана, болезненно чувствующего национальную проблему, не верящего в возможность человеческого существования для евреев в „голусе“, — и рабочего-марксиста, упрямо твердящего, что для него существуют только две нации в мире: сытые и голодные. Но в критическую минуту, когда в городе разражается еврейский погром, оба они — и националист и социал-демократ — организуют „самооборону“, т.-е. активную *борьбу* с насильниками, тогда как „старики“ попрежнему прячутся в погребах и покорно ждут своей участи.

Но если драма Чирикова носит характер тенденциозности, если в ней выведены не столько живые люди, сколько олицетворения определенных принципов, то тем драгоценнее является для нас свидетельство одного из крупнейших художников данной эпохи, настоящего продолжателя чеховских заветов в литературе — Куприна. Оно тем более драгоценно, что

Куприн превосходно изучил жизнь местечек юго-западного края и — один из очень немногих русских писателей—действительно *знает* еврейский быт.

Притом Куприн не задается никакими апологетическими целями и рисует не идейных людей, а самых будничных евреев, выхваченных как бы наудачу из толпы. И вот среди них у него встречаются типы совершенно новые для русской литературы: типы *евреев, физически сильных и храбрых..*

Если мы вспомним, что даже доктор Гурвейс у Мачтета, этот рыцарь без страха и упрека, этот человек с героической душой, с трудом лишь мог преодолеть свойственную всем евреям физическую трусость (а смешных ухваток так и не преодолел), то купринские дети природы,—силач и храбрец-контрабандист в „Трусе", богатырь-извозчик, обезоруживающий и связывающий дебоширствовавшего бурбона-подпрапорщика на еврейской свадьбе („Свадьба"),—это поистине целое откровение. А достойное поведение всей толпы на свадьбе, особенно выпуклое при сравнении с хулиганством случайно попавшего туда тупого и злобного чина, делает этих храбрых силачей даже не столь исключительными. Наконец, Сашка-музыкант в „Гамбринусе", слабый телом, но смелый духом, общий любимец разношерстной толпы, посещавшей кабачок, спасенный одним из поклонников от одесского погрома, во время которого он спокойно ходил по улицам, не боящийся обратиться со смелой речью к компании хулиганов-провокаторов, зашедших в кабачок в дни мрачной реакции,—разве все это не ново?

Разумеется, сильные и смелые евреи бывали и раньше, но *в поле зрения художника* они могли попасть только благодаря шумному выступлению еврейского пролетариата.

Увы, этот период продолжался недолго. Демократия как русская, так и особенно еврейская надолго сошла со сцены. С укреплением третьеиюньского режима началось, как известно, повальное ренегатство

русской прогрессивной и даже радикальной интеллигенции. 1905 г. принес ей известные завоевания, *значительное расширение рынка умственного труда*, и для нее наступила эпоха обуржуазения, свое собственное „enrichissez-vous“ [1]). В процессе этой „европеизации“ русская прогрессивная интеллигенция стала проявлять и антисемитизм, в новой, „европейской“ формации, антисемитизм идейного мещанства и „свободных профессий“, столь знакомый Франции и Австрии, и в основе которого лежит экономическая конкуренция. А в короткие годы бури и натиска высшие учебные заведения не придерживались строго процентной нормы для евреев, и появившиеся в результате сравнительно значительные кадры еврейской профессиональной интеллигенции,—с большей ловкостью, чем русская, завоевывавшей рынок и далеко не всегда отличавшейся строгостью нравов в этой конкуренции,—создали представление о „*еврейском засилии*“ в области умственного труда. Общий лозунг эпохи: „enrichissez-vous“, повальное избавление от старых пут интеллигентской ригористической морали охотно приписывались исключительно евреям. Так возникла и у нас разновидность „прогрессивного антисемитизма“, который особенно пышно расцвел в русской Польше. Правда, там корни его были глубже, там шел процесс консолидации национальной польской буржуазии и стремление вытеснить еврейскую буржуазию из ее исконных экономических позиций. Там и конкуренция среди профессиональной интеллигенции была гораздо ожесточеннее, так как рынок умственного труда бесконечно уже, чем в России. Этим последним обстоятельством, между прочим, объясняется, что в то время, как русские либералы охотно признавали еще до революции принцип культурно-национальной автономии для евреев, польские quasi-прогрессисты о ней и слышать равнодушно не могли и требовали от евреев ассимиляции: главным рынком умственного труда являются города, а в них евреи в Польше со-

---

[1]) „Обогащайтесь“. С этим лозунгом обратилось французское буржуазное правительство ко всей буржуазии после революции 1830 г.

ставляют половину населения, и укрепление среди них *национальной* культуры, с еврейским языком, еврейской прессой, школами, театрами и т. п. лишило бы польскую профессиональную интеллигенцию значительной части ее доходов.

Но охотно уступая евреям область еврейской национальной культуры, русская либеральная интеллигенция эпохи новейшей реакции тем менее желала терпеть от еврейского „засилья" в собственной среде. Зловещие симптомы последней фазы антисемитизма появились уже в 1908—1909 г.г., при студенческих анкетах в Петрограде и Юрьеве. Затем появились думские речи Маклакова, который одним из оснований для введения еврейского равноправия выставлял потребность честных русских людей иметь *моральное оправдание* своего антисемитизма, так как лежачего не бьют. Наконец, Струве и другие заговорили о необходимости „выявления национального лица" для великороссов. Подготовлялась эпоха воинствующего либерального национализма, в который понемногу втягивались и бывшие демократы.

В известном романе Ропшина (Савинкова) „То, чего не было" выведен ряд фигур евреев революционеров. И в отношении автора к этим типам, во всей манере рисовать их, в их изломанности и истеричности чувствуются явно антисемитские нотки. Ропшин доходит даже до того, что все почти его евреи, в том числе интеллигенты, употребляют в разговоре ужимки и словечки, характерные для специфических „сцен из еврейского быта". И лишь пред двумя из них автор как бы почтительно склоняется, покидая, говоря о них, обычные насмешливые нотки. Характерно, что если один из этих двух—старик, побывавший много лет в Сибири, человек прежнего героического поколения, которому Ропшин не мог отказать в традиционном пиетете, несмотря на решительную переоценку многих прежних ценностей,—то другой—*рабочий, кожевник Абрам*, непосредственная и искренняя натура, смелый и сильный физически. И в этом, может быть, против воли автора сказываются отзвуки

недавней эпохи, эпохи героического выступления еврейского пролетариата, заставившей даже будущих воинствующих националистов сохранить уважение к еврейскому рабочему [1]...

Война явилась тем питомником, в атмосфере которого особенно ярко развился либеральный, империалистический национализм и „прогрессивный“ антисемитизм. Повторилась старая история, известная еще со времен библейского фараона, который говорил о евреях: „И егда аще приключится нам брань, приложатся и сии к супостатом, и, одолевше нам, изыдут из земли нашея“.

Всякий раз, когда в стране, ведущей войну, имеется какой-либо бесправный народ или секта, они заподозреваются в силу этой именно бесправности...

Волны либерального антисемитизма поднялись так высоко, что, казалось, они захлестнут в стране все живое; а вызванное ими противодействие (если не считать таких единичных выступлений демократии, как статьи Кусковой или Горького), объединившее ряд писателей-беллетристов в сборнике „Щит“, снова возвращало нас к давним временам жалости и слащавой, антихудожественной сентиментальности. И только Короленко, устами своего мистера Джаксона, взял в этом сборнике правильную ноту: евреям нужна не „любовь“, не „симпатия“, а гражданское и политическое равноправие.

Два раза в течение столетия мы наблюдали резкий перелом в отношениях русской литературы к евреям: при появлении *русской демократии*, в лице Чернышевского, и при выступлении *еврейского пролетариата*.

Революция 1917 г. в наиболее яркой форме выявила оба крайних нравственных типа еврейства: тип мучени-

---

[1]) Революция и гражданская война заставили Савинкова перейти и эту грань: он, как известно, морально причастен к ужасным еврейским погромам Белоруссии.

ка за идеал, в данном случае коммунистический идеал общечеловеческого братства, и тип наглого хищника, приспособляющегося к любому режиму. Белая, эмигрантская литература, милостиво покровительствующая „своим“ евреям, с ненавистью смешивает в одну кучу и обливает грязью оба противоположных еврейских типа советской России. Но эти типы ждут еще настоящей литературы, своего беспристрастного художника.

В. ЛЬВОВ-РОГАЧЕВСКИЙ.

РУССКО-ЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

ОТ АВТОРА.

В предреволюционные годы Максим Горький задумал выпустить сборник „Евреи на Руси“ около 40 печатных листов. В этом сборнике предполагалось осветить деятельность евреев во всех областях русской жизни. К участию в сборнике были привлечены Александр Бенуа („Евреи в русском искусстве“), Каратыгин („Евреи в музыке“), Никольский („Евреи в религии“), Сватиков („Евреи в русском революционном движении“) и т. д. Мне предложена была тема: „Евреи в русской художественной литературе“. Я долго колебался, прежде чем взял эту тему. Русские писатели и русские критики никогда не затрогивали этой темы, я сам чувствовал себя слишком неподготовленным... Но в 15—16 годы, в разгар юдофобства надо было русским писателям показать широким читающим массам, сколько неугасимого энтузиазма и горячей любви к России и русской культуре внесли евреи в историю русской культуры. Горьковский сборник не был выпущен, революция выдвинула новые задачи, но я продолжал работу. С глубокой благодарностью вспоминаю о той изумительной внимательности, с которой отнеслись ко мне представители еврейской интеллигенции: Познер, Брамсон, Каменецкий, Цимберг, библиотекарь Петроградской еврейской библиотеки. Все, что имелось ценного на русском языке, было предоставлено мне для моей работы. Мне пришлось поработать около года.

В своей работе я не касался еврейских писателей, писавших на древнееврейском языке и жаргоне, я писал только о тех из писателей-евреев, которые вы-

ступали в русской литературе и знакомили с бытом; переживаниями и устремлениями родной им национальности.

Я проследил их участие в русской литературе на протяжении 50 лет и довел свой исторический обзор до 1917 года.

Полагаю, что эта работа пополнит пробел, существующий в русской литературе, и познакомит с материалом, неизвестным русскому читателю, да и ассимилированной еврейской интеллигенции.

В. Львов-Рогачевский.

1922 г.

ГЛАВА I.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И РУССКО-ЕВРЕЙСКАЯ.

„История никогда не начертывала на своих страницах вопроса более тяжелого, более чуждого человечности, более мучительного, нежели вопрос еврейский. История человечества есть вообще бесконечный мортиролог, и в то же время она есть бесконечное просветление. В сфере мортиролога еврейское племя занимает первое место, в сфере просветления оно стоит в стороне, как будто лучезарные перспективы истории совсем до него не относятся. Нет более надрывающей сердце повести, как повесть этого бесконечного истязания человека человеком".

Так писал в 1882 г. в августовской книжке „Отечественных Записок" Салтыков-Щедрин. В гневной и яркой статье сатирика, пережившего только что погромный 1881-й год, было брошено любопытное и в высшей степени характерное для русского писателя замечание:

„Даже в литературу нашу только с недавнего времени стали проникать лучи, освещающие этот агонизирующий мир. Да и теперь *едва ли можно указать на что-нибудь подходящее*, исключая прелестного рассказа Э. Ожешко „Могучий Самсон". Поэтому те, которые хотят узнать, сколько симпатичного таит в себе замученное еврейство, и какая неистовая трагедия тяготеет над его существованием,—пусть обратятся к этому рассказу, каждое слово которого дышет правдой".

Один из корифеев русской литературы принужден был сослаться на произведение *польской* писательницы, так как родная литература не знала еврейства, не могла его знать, да и не хотела.

Еще во времена Екатерины Великой была воздвигнута китайская или московская стена между восточной и западной Россией. За этой стеной „в черте" задыхались дети современного российского гетто, над

которым тяготело заклятье исключительных законов, заклятье средневековья, приучавшее смотреть на евреев, как на зачумленных. Безотчетная антипатия, предрассудки, гипноз готовых формул воздействовали на русского писателя, и вместо произведений, в которых, действительно, „каждое слово дышет правдой“, получалась каррикатура по формуле: „ко мне постучался презренный еврей“.

Ни Пушкин, ни Гоголь, ни Тургенев, ни Достоевский не создали живого правдивого образа еврея: они не знали его. И подобно тому, как Н. В. Гоголь, не зная русского крестьянина, создавал каррикатурные фигуры: глуповатого Селифана, лакея Петрушки со специфическим запахом, дяди Миная и дяди Митяя, не умевших развести в разные стороны двух столкнувшихся экипажей, так и русские писатели, не зная еврея, выдумывали смешные или презренные фигуры людей, которые были вне поля их зрения.

К ним ко всем приложимы слова Льва Неваховича, сказанные им в его известной брошюре „Вопль дщери иудейской“ еще в 1803 г.:

„Вы ищете в человеке *иудея*, ищите в иудее *человека*, и, без сомнения, его найдете“... „Вы живете с народом, не зная сердца оного“.

В то время, как Салтыков-Щедрин писал свою статью, русский художник и не пытался еще искать в иудее человека, не пытался узнать сердце гонимого народа. Но уже в *то время* существовала русско-еврейская литература и она могла дать не мало ценного материала. В настоящее время эта литература может иметь свою историю.

За 50 лет сменился ряд периодов, прошли поколения отцов и детей, фанатиков-националистов, людей переходного времени, ассимиляторов, борцов за право, палестинофилов, мечтающих о перенесении центра, борцов за социальную справедливость, за культурно-национальную автономию.

Друзьям еврейского народа уже не приходится отсылать русских читателей, „тех, которые хотят знать“, к польской литературе. И не только потому, что гу-

манную Элизу Ожешко сменил в польской литературе писатель юдофоб (даже Немоевский стал юдофобом), а прежде всего потому, что русско-еврейская литература совершила большую работу, которой нельзя не заметить, да и современная русская литература в лице Л. Н. Толстого, с Елпатьевского, В. Г. Короленко, Ив. Шмелева, Ив. А. Бунина, Леонида Андреева, Федора Сологуба, Максима Горького и др. наших лучших поэтов и художников начертала на щите: „Еврейский вопрос—русский вопрос".

На наших глазах росло сознание братской связи со всеми народами и народом еврейским. Этому росту немало содействовала русско-еврейская литература.

В России еврейская литература—литература трехязычная.

Еврейские книги выходят на древне-еврейском языке, языке Библии и обслуживают, главным образом, духовные потребности специального слоя еврейского народа—духовенства.

Затем печатаются книги на жаргоне, и за последнее время язык массы приобретает все больше и больше прав гражданства в литературе.

В 1913 г. появилась „История еврейской литературы" (на еврейско-немецком диалекте) д-ра парижского университета М. Я. Пинеса в переводе С. С. Вермеля. Эта книга рисует нам яркую картину роста жаргонной литературы, переживающей эпоху Возрождения. К сожалению, переводы образцов сделаны в высшей степени неудачно, и значительно портят впечатление благодаря тому, что переводчики плохо справлялись с русским языком.

Останавливаться на жаргонных произведениях, известных нам только по переводам, не входит в нашу задачу.

Наконец, печатаются книги и на русском языке. Эти книги предназначаются для русской интеллигенции и для тех евреев, для которых русский язык стал или становится языком родным. Не следует забывать, что в России в 1916 году было свыше семи милли-

онов евреев, т.-е. бо́льшая половина всех евреев, рассеянных по всему миру, связана с нашей страной, с судьбами России. Несмотря на исключительные законы и китайские стены реакционного правительства, несмотря на „ограды“ и запрещения со стороны фанатиков старины, русский язык и русская литература захватывали все шире и глубже еврейскую среду. Этого хотела историческая необходимость, к этому вели экономическое развитие и растущая демократизация страны, уничтожение черты и революция 1917 года.

Еврейский экономист Бруцкус разработал материалы всероссийской переписи 28 янв. 1897 г. в обширном труде „Профессиональный состав еврейского населения России“. Собранные им данные ценны для нашей попытки дать впервые общий обзор русско-еврейской литературы.

Прежде всего нас интересуют вопросы: какое количество евреев считало во время переписи русский язык своим родным. Таких было немного, всего 44.328, т.-е. 9% 1897 г. Громадное большинство — 96,9%, вся еврейская масса, признали своим родным языком — жаргон: в черте оседлости 97,95%, а в уездах даже 99%, в городах вне черты — 80,5%. Но эти цифры с каждым годом изменялись. Та же перепись указала, что одна четверть еврейского населения 19 лет тому назад владела русской грамотой, а среди мужчин-евреев даже одна треть. „В отношении усвоения русской грамоты, — говорит Бруцкус, — евреи занимают одно из первых мест среди народов России, они отстают в этом отношении от немцев, но *стоят впереди русских*“ (стр. 65).

Со времени переписи эти цифры значительно выросли, а с уничтожением черты оседлости, с прекращением средневековых гонений, с усилением европеизации и демократизации страны будут расти с невероятной быстротой,

Для всех этих евреев необходима родная литература на русском языке. Эта литература необходима и для русской демократической интеллигенции, которую

не могут удовлетворить русские авторы, слишком чуждые еврейскому быту, еврейской культуре и чаяниям еврейского народа, в это переходное время.

Бытие еврейского народа, социально-экономические условия, в которых он живет, и которые определили его быт, отразились и на формах его сознания и на его литературе. Эта литература, по преимуществу, городская, литература *городского мещанства*, *городской интеллигенции*. Деревня, деревенский пейзаж быт крестьянства в ней почти не нашли отражения. И это вполне объяснимо: по данным переписи 1897 г., евреев в черте оседлости находилось в городах 48,8%, в местечках 33,1%, а в сельских местностях 18,1%, т.-е. 1/6. Для евреев, оторванных, благодаря политике господствующих классов, от земли, сельское хозяйство имеет совершенно второстепенное значение. В связи с этим все другие группы профессий имеют для них гораздо большее значение.

Интересно распределение населения по сословиям в России в 1897 г.:

Мещан во всем населении было:	10,7%	мещан среди евреев:	94,2%
купцов „ „ „ „	0,2%	купцов „ „	3,9%
крестьян „ „ „ „	77,1%	крестьян „ „	1,4%

Торговля имела в 1897 г. для евреев в десять раз больше значения, чем для населения коренного, а промышленность в 3½ раза больше. Вот объяснение того факта, что беллетристы-евреи обычно изображают жизнь местечек и городов Западного края, быт мещан, торговцев и позднее рабочих, и быт большого южного города. Только у поэта С. Г. Фруга, родившегося в еврейской земледельческой колонии, найдете и прекрасный пейзаж, и идеализацию земледельческого труда.

Вторая очень характерная черта русско-еврейской литературы, это —ее двойственность. Еврейскому народу приходилось жить двойственной жизнью: и собственной, и жизнью России, которая стала для него новой родиной, пока родиной-мачехой. Это двойственное положение еврейского народа создавало раздвоенность

еврейского писателя и русско-еврейской литературы. Она всегда была двуликим Янусом: одним ликом обращена к русскому читателю, другим к еврейскому, одним ликом к русской литературе, другим к своей Книге,—к Библии.

Русско-еврейская литература это—литература народа, страдающего от многовековых преследований, наветов и клеветы врагов, охраняющих *внешнее гетто*, и в то же время народа, внутри которого отсталые, клерикальные элементы всеми силами защищали *внутренее гетто*. Все это не могло не отражаться на работе еврейского писателя и не могло не выработать во всей литературе русско-еврейской определенной черты, уменьшающей цельность и ценность художественных произведений.

О влиянии русской литературы на еврейского читателя говорят многочисленные, весьма убедительные данные. Во многих русских библиотеках, в особенности в черте еврейской оседлости, преобладающее большинство—еврейские читатели. В Вознесенске (Херс. губ.) в публичной библиотеке имени Пушкина читатели-евреи составляли 90%, в 12, 13 г. то же и в Бобруйске, и в целом ряде городов. И в отчетах еврейских библиотек, и в статьях постоянно указывается, что даже в тех библиотеках, где имеются книги на русском языке, *на древне-еврейском*, на жаргоне, первое место занимают авторы русские, и *прежде всего и всегда* Толстой.

„Едва ли в какой-нибудь еврейской библиотеке,—читаем мы в „Восходе“ (1903, кн. VI, стр. 193),—другой писатель может претендовать занять это место“.

Такой интерес к русской литературе—дело последних десятилетий. Раньше на первом плане стояли немецкие авторы, и еврейские писатели, живя в России, проникались немецкой культурой. До шестидесятых годов русская литература и общественные течения русской жизни не оказывали никакого влияния на еврейскую литературу.

В романе Л. О. Леванды „Горячее время“ имеется любопытное письмо девушки-еврейки к подруге, поме-

ченное 61-м годом: „Сарин уверяет меня, что со временем я полюблю и русский язык, и русскую литературу, слышишь, *литературу. Русские имеют литературу. Совершенно новое для нас открытие, не правда ли*". (Евр. Библ., т, I, стр. 67). Сарин-Леванда был прав: еврейские девушки и юноши, воспитанники раввинских училищ и гимназий, со временем и даже очень скоро полюбили русскую литературу, как родную, сроднились с литературными типами, стали мечтать о них. Питомцев *чуждой немецкой культуры, Коцебу-Виланд-Шиллеровскую аристократию сменили Сарины, герои Леванды и Миркины Ан-ского.*

В. О. Гаркави, родившийся в Новогрудке, Минск. губ., в 1846 г. и поступивший в Московский университет в 1864 г., в своих „Отрывках воспоминаний" („Пережитое", т. IV, стр. 271) раскасывает о влиянии на него русской литературы, а позднее московского театра в самых теплых выражениях: „Неведомая для нас Россия, в противоположность окружающей нас польской жизни, представлялась нам светлой, преимущественно состоящей из людей, проникнутых идеями Белинского, руководителей „Отечественных Записок" и „Современника", Тургенева и Некрасова".

Поступив в Московский университет, молодой еврей из Новогрудка становится ревностным посетителем Малого театра.

„Театр был для нас откревением. Там мы впервые увидели настоящее искусство. На-ряду с „Горем от ума" и „Ревизором", тогда давались и новые пьесы на современные вопросы. Из тогдашних авторов осталось только имя Островского, имена других и даже название их пьес забыты. Но помнится, с каким *восторгом и увлечением* молодые прислушивались к пьесам, в которых выводились герои и героини, борцы за равноправие женщин, за общественный долг, за правосудие. *С замиранием сердца* прислушивались к проповеди о научной истине, о свободной любви, к намекам на политическую свободу. ***Немало плакали мы*** на

представлении „Доходного места“ и подобных пьес (стр. 214).

С. Л. Цинберг и Б. Фрумкин в статьях „Первые социалистические органы“ („Пережитое“, т. I) и „Революционное движение в 70-х годах“. („Евр. Старина“, т. III, вып. II и IV) дают богатый материал, освещающий влияние русской литературы и русской общественной мысли на еврейскую молодую интеллигенцию, еврейских социальных революционеров эпохи хождения в народ, когда под народом, главным образом, разумели „трудовое русское крестьянство“.

„В русскую литературу 60-х годов, — читаем мы у С. Л. Цинберга („Пережитое“, I, стр. 234) —вторгся разночинец, и разночинцами русская литература стала насаждаться в еврейском гетто. Русские семинаристы и студенты, вышедшие из бедных слоев, стали знакомить жадное до знаний еврейское юношество с волновавшими русскую литературу и русское юношество вопросами. Русские идейные книги контрабандным путем находили себе доступ в старозаветные ешиботы и в проникнутые казенным духом раввинские училища, и Писарев, Добролюбов, и Чернышевский стали там любимыми писателями“.

Первый еврейский социалист Либерман был горячим поклонником Лаврова, Ан—ский был в течение шести лет секретарем Лаврова; с 1894 г. до конца его жизни, и вспоминает „о непосредственной близости“ к этому „поистине великому человеку“, как о счастье (Сочинения, т. V, стр. 322).

Первым идейным учителем социалиста Винчевского, выступавшего со своими статьями, поэмами и сатирами на социальные темы в 70-х годах, был Людвиг Берне, а затем Писарев и Чернышевский, роман которого „Что делать?“ он добыл у какого-то русского семинариста.

Свое обращение к *еврейской* интеллигентной молодежи социалист Либерман напечатал в лавровском „Вперед“ (1876 г., 1-го августа, № 38), и в этом обращении был брошен лозунг *русской* народнической литературы: „Иди в народ“.

При чтении русских художников, предпочтение отдавалось художнику-общественнику, а не психологу и не поэту, рожденному „для вдохновения, для звуков сладких и молитв“.

Вдумчивый, серьезный и чуткий еврейский беллетрист Ан—ский (Раппопорт), в своей повести „Пионеры“ рисует типы первых поклонников русской литературы, еврейских интеллигентов, рисует с большим знанием среды и мягким любовным юмором, рисует, как человек, с теплым чувством вспоминающий о пережитом и близком.

Герой Ан—ского Геверман, порвавший со старым, в восторге от книг Михайлова „Лес рубят—щепки летят“, „Гнилые болота“, которые *указывали ему путь*. Он был „филистером“, „трутнем“, пока не прочел этих книг. Циверштейн—гимназист ставит Достоевского выше Михайлова, но „разрушитель ограды“ Геверман не согласен: „Меня он не трогает; то же самое и стихи Пушкина. Читаю их и забываю. А Михайлов хватает за душу. Когда читали „Лес рубят—щепки летят“,—*я плакал навзрыд*. Благодаря этому роману я переродился, совершенно другим стал, сбросил с себя старое... (Соч., т. III, стр. 122).

К поколению этих „детей“, у которых открылись глаза, и которые нашли путь, принадлежал и русско-еврейский писатель-просветитель. Русская литература оказала на него решающее влияние: он воспитал свое дарование на русских авторах, полюбил их, привык ими гордиться, как своими; сумел простить то несправедливое и обидное для еврея, что случайно попало в русскую литературу; сумел подняться выше личного и отдать свое сердце защитникам униженных и оскорбленных, погибших и погибающих, бедных людей и темного люда.

Когда умер Ф. М. Достоевский, в № 6 „Рассвета“ (1881 г.) была помещена характерная заметка С. Кагана, в которой были редкие по своей объективности строки „О глубоком и искреннем чувстве беспредельной скорби, переживаемой всеми почитателями покойного... Всем известна глава „Еврейский вопрос“ в

его „Дневнике“ (1877 г. март). Но при всей прирожденной и благоприобретенной неблагосклонности Ф. М. к евреям,—писал еврейский журналист,—всякий, конечно, легко заметит разницу между искренним публицистом, честным искателем истины и справедливости и толпою аферистов, приноровливавшихся ко вкусу „дежурных дворников“, ругающих „жидов“ для оживления столбцов“.

Нужно самоотверженно любить русскую литературу, чтобы забыть страницы, полные ненависти, посвященные Достоевским евреям, полякам, революционерам, Белинскому, Грановскому.

Еще более яркий пример этой самоотверженной, всепрощающей, чуткой любви к русской литературе представляет прекрасное стихотворение С. Г. Фруга, посвященное памяти Т. Г. Шевченко и читанное на вечеринке в годовщину его смерти. С. Г. Фруг приветствовал „святую тень“ певца, который в своих поэмах когда-то воспел кровавую резню Гайдамачины, воспел и Гонту и Железняка.

Так отчего ж на эту тризну
С такой я радостью спешил,
Неся в душе не укоризну
За эту кровь и ряд могил,
А слово теплого привета
Заветной памяти поэта,
Который сердцу люб и мил.
Не оттого-ль, певец Украйны,
Что в песнях тех, что пел нам ты,
Лежат пленительные тайны
Непостижимой красоты;
Что, осененный светлой думой,
Твой дух покой и мир любил,
И под суровостью угрюмой
Ты сердце мягкое таил;
Что, кровь и муки воспевая,
Ты часто сам болел, рыдая,
Скорбя в душевной глубине
Об этой мрачной старине...

Поэт С. Г. Фруг не только почувствовал нежную глубину под угрюмой суровостью, он нашел для своей

арфы не мало родственных и близких нот в поэзии Т. Г. Шевченко.

„*Наставники мои*: о, Пушкин, величавый, мятежный Лермонтов!.. Я в ваших песнях пью отраву красоты, и жалок я себе своим стихом туманным, и грустно мне, что в нем так мало простоты"—жалуется еврейский поэт Минский (Виленкин).

Еврейский писатель *шел по следам русских классиков, по их образцам, он мечтал походить на своих „наставников"*. И теперь, когда хотят дать оценку еврейскому писателю, обычно сравнивают его с русским автором. Не раз вы услышите или прочтете: О. Рабинович—„еврейский Григорович", критик Ковнер — „еврейский Писарев", Д. Айзман — „еврейский Чехов", Ан—ский — „еврейский Г. И. Успенский", Минский — „еврейский Некрасов", Андрей Соболь— „еврейский Ропшин" и т. д. Бывали случаи, когда еврейский писатель принимал окраску любимого автора до полного сходства.

В 1884 г. в трех книжках „Восхода" (2, 5 и 6-я) печатались сатирические очерки Баданеса „Записки отщепенца". В этих записках, пропитанных желчным сарказмом, было рассыпано много едких и злых, чисто щедринских характеристик, много словечек и выражений, точно продиктованных русским сатириком. В остроумном и едком сатирике не успел расцвести еврейский Щедрин.

В статье талантливого критика М. Лазарева, к сожалению, мало давшего литературе („Восход" 1885 г., кн. 5 и 6—„Задачи и значение русско-еврейской беллетристики"), была резко подчеркнута эта близость русско-еврейской и русской литератур. „Даже в деталях и мелочах, — писал еврейский критик,—еврейские тенденциозные писатели везде подражают своим русским товарищам. В постройке рассказа, в ведении интриги, в завязке и развязке фабулы, в отдельных штрихах рассказа и положении лиц, *во всем и везде сказывается сильное влияние русских образцов*" (стр. 32).

Это решительное утверждение приходится принять с большими оговорками. Гипноз русских авторов и русских образцов, в особенности, был заметен в период первого двадцатилетия до 881-го года, когда господствовала проповедь слияния, когда литературная ассимиляция шла рука об руку с общественной ассимиляцией.

Во всяком случае надо признать, что русско-еврейская литература не создавала творчески новых путей и новых форм, но она *дополняла* русскую литературу. Она внесла новое содержание, новые темы, она проявила новое отношение, страстное, болезненно-чуткое к вопросам права и справедливости, она познакомила с новым бытом. Национальный гнет вызывал повышенную национальную возбудимость, болезненное развитие национального чувства,—и это в период российской реакции общественной и политической сказывалось с особенной силой и не могло не волновать даже равнодушного русского читателя, не могло не будить совесть русской литературы, не могло не выдвигать вопроса о национальном равноправии.

Борясь за право и справедливость, борясь за угнетенный народ, за угнетенных всего мира, стремясь пробить стену апатии и равнодушия, еврейский писатель являлся поневоле тенденциозным.

В драме С. Юшкевича „Король"—девушка-еврейка, возмущенная индифферентизмом окружающих, говорит: „Мне хочется чего-то страшного, мучительного, *криков*. Я хотела бы, чтобы *все кричали от боли*". Этого хочет еврейский художник. Он не просто кричит, он *хочет*, чтобы все кричали от боли, в этой преднамеренности его тенденциозность.

Если русский писатель создает свои образы для читателя-друга, то еврейский писатель *стремится подействовать на читателя-врага*, привлечь, переубедить его, заразить *своей мукой*. Еврейский писатель любит мучить читателя, но не потому, что у него жестокий талант, а потому, что у него или жестокий, или притерпевшийся к жестокому читатель. И вот, на первый

план выступает не интуиция художника, а заранее обдуманное намерение публициста.

Еврейский беллетрист-просветитель, проповедник, полемист, протестант, больше публицист, чем художник, и недаром русско-еврейская беллетристика зародилась в самой непосредственной связи с русско-еврейской журналистикой, ставя и разрешая одни и те же задачи в каждый данный период. Но всегда она или защищает, или обличает свой народ.

„Тенденция, наступательная и оборонительная“, по выражению Л. Леванды, ярко проявлялась и в художественных произведениях не только О. Рабиновича и Л. О. Леванды, но и последующих художников. Еврейский художник только менял темы, аргументы, но оставался всегда апологетом и обличителем, идя по следам библейских пророков. В своих обличениях художник был бесстрашен, не боялся упреков, не боялся показывать слабости своего народа, стремясь к самопознанию и духовному перерождению. Девизом еврейского писателя была неподкупная и бесстрашная истина. В своей защите и в своих обличениях он не подкрашивал, не скрывал и не умалчивал, не искажал, не преувеличивал, не пытался никогда недоговаривать, не стремился никогда наговаривать. Он шел к свету, не страшась ни цензурного намордника, ни набата „рыцарей ложной национальной спеси и словобоязни“, не имея причины опасаться яркого света. По этому же пути суровой правды шли и Рабинович, и Леванда, и Богров, идут теперь Юшкевич, Соболь, не боясь нападок и отказываясь рисовать „розовых евреев“.

Погибая под ударами врагов, „Рассвет“ завещал своему заместителю „Сиону“:

„Все для правды, ничего для угодничества и раболепства“.

„Итти,—но не пятиться“.

„Лучше молчать, чем заикаться или говорить двумя языками“ (см. С. Рабинович, соч., т. III, стр. 231).

Тем же бесстрашием мысли отличался еврейский художник. Только еврейский художник умеет так бес-

пощадно осмеять отрицательные черты своих собратьев и свои собственные. Гоголь говорил: „Горьким смехом моим посмеюся“. Еврейский художник может сказать: „*Бесстрашным* смехом посмеюсь над самим собою“. Это бесстрашие смеха вытекало из бесстрашия мысли.

На-ряду с бесстрашием мысли в русско-еврейской литературе вы видите беззаветную любовь к будущей России, несмотря ни на что, и упорную героическую веру в лучшее, светлое будущее.

Как Бер С. Юшкевича (в „Городе“), еврейский художник и поэт неустанно повторял в самые тяжелые минуты жизни: „Я верю в *доброе*. Скверно, но будет хорошо, *должно быть хорошо*“. Это—вера сквозь отчаяние, как бывает смех сквозь слезы.

Таким образом, мы наметили следующие черты русско-еврейской литературы: *это литература по преимуществу городская; литература народа, вечно преследуемого, она тенденциозна, она бесстрашно обличает и защищает еврейский народ; она двойственна, она находится в теснейшей связи с литературой русской, она проникнута горячей любовью авторов к родине-мачехе, она исполнена горячей веры в светлую жизнь.*

Но можно ли такую литературу считать *еврейской*, можно ли считать произведения на чужом языке национальными?

Вся история еврейской литературы была прохождением сквозь строй чужих языков, была усвоением культуры тех народов, с которыми соприкасался народ-странник, со своей Вечной Книгой и со своими вечными муками.

Сочинения средневекового еврейского философа Маймонида писаны на арабском языке, сочинения еврейского Лютера-Мендельсона, переводчика Библии с древне-еврейского на немецкий, писаны на немецком языке.

В воспоминаниях о Фруге, историк Дубнов попутно высказал ценную мысль: „Еврейство,—говорит он,—на своем долгом историческом пути пользовалось всеми языками культурного мира от древне-греческого до нынешнего русского, *только, как орудиями* своего духов-

ного творчества,—вследствие чего образовались большие иноязычные пласты нашей литературы, но от этого последняя не утратила своей внутренней цельности и национальной самобытности“.

Эту мысль он подтверждает ссылкой на поэзию С. Г. Фруга.

Национальность литературного произведения определяется не языком, на котором оно появилось, а господствующим настроением автора, его тягой к определенному народу, сродством души автора с душой родного народа, с его культурой, устремлением к прошлому, настоящему и будущему этого народа; определяется ответом на вопрос, для кого он работает и чьи национальные интересы защищает.

Беседуя о том же С. Г. Фруге, под свежим впечатлением его кончины, еврейский национальный поэт Х. Н. Бялик говорил: „*Читая Фруга даже на чуждом мне языке, я чувствовал в нем родную душу, душу еврея, я обонял запах библии и пророков... Я воспринимал Фруга не только, как читатель, но и как еврей. Для меня Фруг писал не по русски. Читая его русские стихи, я не замечал русского языка. Я чувствовал в каждом слове язык предков, язык библии, я чувствовал душу человека, страждущего за еврейский народ*“ („Одесские Новости“, 1916, от 8 сент.).

В русско-еврейской литературе, также страдавшей за еврейский народ, отразилась душа народа-странника, народа, у которого преобладает интеллект народа не литературного, но книжного, умственного; отразились еврейское мироощущение, мирочувствование и миропонимание, определенный душевный ритм, еврейский образ мыслей, еврейская культура, еврейский быт... Все это прошло сквозь призму русской литературы.

Французский социолог Гюйо у каждого писателя умел подметить его акцент творчества: своя тема, своя весть миру, свой ритм, свой основной тон, всегда повышенный, свой акцент творчества и у русско-еврейского писателя, с его трагическим восприятием жизни. Лорд Байрон в своих еврейских „мелодиях“ говорит

о евреях, как о племени „скитальцев“, как о народе „с *удрученной* душою“; эту душевную *удрученность* можно заметить в первых же произведениях русско-еврейской литературы. Эпиграфом к ней так и хочется взять слова из „Плачей“ пророка Иеремии: „Он пресытил меня горечью, напоил меня полынью“, или скорбные стихи пророка Иезикииля: „И увидел я, и вот рука его простерлась ко мне, и вот в ней книжный свиток, и он развернул его предо мной, и вот свиток исписан был и снаружи, и внутри, и написано на нем: „*плач, стон и горе*“.

Плач, и стон, и горе вы слышите и в публицистической статье „Вопль дщери иудейской“, и в поэзии Минского и Фруга, и в беллетристике Рабиновича, Айзмана, Юшкевича. Даже в улыбке, даже в смехе, даже в хохоте русско-еврейских писателей вы слышите: плач, и стон, и горе.

Вот то *свое* русско-еврейской литературы, с которым она пришла к русскому и еврейскому читателям. Этим *своим* она заполнила тот пробел, который существовал в русской литературе.

Мы не будем преувеличивать заслуг писателей-евреев и значение русско-еврейской литературы. Не преувеличивают их и еврейские публицисты и критики.

Талантливый и темпераментный публицист Вл. Жаботинский находит даже, что „евреи пока ничего не дали русской литературе“. За последнее время среди еврейских националистов заметна тенденция отречься от русско-еврейской литературы, как раньше, в 60 и 70 г.г., заметна была тенденция отречься и от жаргонной литературы.

Но даже критики 70—80 г.г. не обольщались насчет талантливости еврейских художников и насчет значения русско-еврейской литературы. В особенности это резко, определенно и обоснованно высказано критиком М. Н. Лазаревым (1885 г).

Еврейский критик Волынский, который в 80 г.г. был присяжным критиком „Восхода“, горячим националистом и даже в сборнике „Палестина“ выступал с проповедью сионизма, в своих многочисленных

статьях, посвященных еврейским беллетристам и поэтам, говорил о весьма скромных заслугах русско-еврейских писателей. Он называл русско-еврейскую литературу маленькой часовней в большом храме; он с редкой настойчивостью подчеркивал впервые высказанную им „правду“ о том, что „в русской литературе евреи до сих пор играли, к сожалению, ничтожную роль“ („Восход“, 1888 г., кн. I—II, стр. 15). В статье „Менцели наших дней“ (там же) Волынский-Флексер писал: „Увы, мы скорбим, что русское еврейство дало пока русскому обществу только несколько более или менее стоющих имен, и что Фругом и Минским ограничивается число поэтов, обслуживающих наш отечественный Парнас. Мы, евреи, высоко приподнимаем шапку пред такою колоссальною литературною и нравственною силою, как Лев Толстой, с жгучею досадою думаем о том, что ни одному из евреев не удалось еще так послужить родине, как этому великому писателю земли русской“.

„Правда, есть обстоятельства, на которые мы в праве сослаться в наше оправдание, но разве жгучему патриотизму легче оттого, что есть-де условия, которые нас душат, угнетают нас пуще бича, пуще тюрьмы“ (стр. 10).

В статье, посвященной бытописателю русского еврейства Л. О. Леванде, тот же Волынский через год повторяет то же утверждение („Восход“, 1889, кн. IV, стр. 12): „Безотрадно и обидно, конечно, для нашего самолюбия сознание, что русское еврейство не дало еще до сих пор *ни одной поистине замечательной художественной величины, имеющей право на внимание большой публики, безразлично—еврейской или русской. Но, увы, это так*“.

Это писалось 25 лет тому назад.

Но за это время выдвинулись такие художники, как Ан—ский, Семен Юшкевич, Д. Айзман, А. Кипен, Андрей Соболь. И тот, кто пожелает судить о росте русско-еврейской литературы за какие-нибудь 50 лет (не забывайте, всего за 50 лет!), пусть сравнит художественные произведения последних с публицисти-

ческой беллетристикой первых писателей - журналистов. Все эти художники, воплотивши в своем творчестве плач и стон, и горе еврейского народа, выполнили большую работу пробуждения человека в человеке.

Обзором и оценкой этой работы мы и займемся в следующих главах, разбивши историю русско-еврейской литературы на четыре периода:

1. Период раннего просветительства и борьбы с клерикализмом внутри гетто в мрачную эпоху Николая I, когда выступали просвещенцы „берлинеры", „отцы", идеалисты, „люди сороковых годов", самоучки, умеренные и лойяльные, верившие в творчество разума.

2. Период просветительства, связанного со светлой эпохой великих реформ, период великого оптимизма, проповеди слияния с коренным населением, когда выступили „реалисты", просветители-„дети", евреи шестидесятники, русские граждане Моисеева закона, выступали с пламенной верой, что слияние приведет к эмансипации.

3. Период национального возрождения, расцвета жаргонной литературы, период крушения идеалов ассимиляторов, когда в душе интеллигента - еврея после погромов 81 года вырастало, по словам д-ра Мандельштама, „глубочайшее убеждение", что будущее еврейское гетто может сложиться удовлетворительно вне России. В этот период *национальное освобождение* неразрывно связывается *с национальным единством.*

4. Период, когда вместе с ростом капиталистических отношений и обострения борьбы между хозяевами и рабочими все резче и резче противопоставляются течения социальные течениям национальным; все резче выступают противоречия современного города, все ярче идеалы рабочего класса, идеалы социальной справедливости и международной солидарности. В этот период излюбленный эпитет „отечественный" уступает место эпитету „соцальный",

---

ГЛАВА II.

„ВЕРА И РАЗУМ".

Николаевщина и ранние просвещенцы. А. Паперна и Ковнер. Г. Богров, Л. О. Леванда, Ан—ский о „маскилах"—просветителях—„отцах".

Первый период просвещенства очень беден произведениями на русском языке. Русско-еврейская журналистика и русско-еврейская литература расцветают лишь в шестидесятые годы, после смерти Николая I, а в свинцовую эпоху николаевщины еврейский писатель стремится установить тесную связь не с русской, а с германской культурой. Но об этом периоде дает богатейший материал литература позднейших лет: корреспонденции и статьи, появившиеся в 60-е годы в газетах „Рассвет", „День", „Сион"; рассказы и повести, напечатанные в 70-е годы в „Еврейской Библиотеке", в 80-е годы в „Восходе"; письма и мемуары в „Еврейской Старине", начиная от 1909 г., воспоминания писателей, переживших эпоху раннего просвещенства, помещенные в содержательных книжках „Пережитого", наконец, „Записки еврея" Богрова (70—72 г.г.), „Очерки" Леванды (1875 г.), повести Ан—ского (80—90 г.г.).

Мрачные годы деспотизма в семье, школе, в общественно-политической жизни переживала вся страна в царствование Николая I, но еврейская община переживала этот мертвящий деспотизм с особенной силой. Преклонение пред буквой закона, боязнь всяких новшеств, благоговение пред обрядностью, суеверия и предрассудки убивали всякое искание новых путей и отрывали от европейской культуры.

Еврейская община ревниво охраняла застой. Она уходила своими корнями в средневековье. По своему происхождению, по складу и характеру, по всему своему

внутреннему строю и по всем своим отношениям к внешнему миру еврейская община узаконяла внутреннее гетто и являлась отражением средневекового социального уклада. Она представляла собою автономную организацию не только духовно религиозную, но и социально-политическую.

Внутри еврейской общины под религиозным покровом господствовал властный клерикализм, господствовали кагальные заправилы, властители душ и телес, самодержавные устроители и руководители всей жизни еврейского народа.

Но замкнутый мир еврейской общины, обособленной, оторванной от окружающего мира и населения, волею исторических судеб должен был подпасть под действие законов экономического развития.—товарно-капиталистические отношения разрушали беспощадно средневековую замкнутость и связывали со всем внешним миром.

Подчинение всей общественной жизни религиозным интересам и формам для активных слоев еврейского народа, втянутых в хозяйственную, экономическую жизнь страны, стало невыносимым. Отжившие нормы стали в руках власть имущей олигархии орудием интересов и вождлений клерикализма, стали оковами всякого живого слова, всякой живой мысли. Они тормозили, задерживали, мертвили развитие общественных отношений, они подавляли всякий протест, и вот началась борьба не на жизнь, а на смерть против средневековья, против клерикализма; борьба между ортодоксами-фанатиками и хранителями старины и вольнодумцами - просвещенцами, благоговевшими пред наукой; борьба между защитниками мертвой догмы, бесплодной схоластики и теми, кто хотел понять и осмыслить, и кто сознавал мучительно и остро, что „над вольной мыслью богу неугодны насилие и гнет".

Это была борьба за раскрепощение всего средневекового уклада: школы, семьи, личности; это была борьба за право свободно мыслить, борьба против патриархальных норм, установленных опекунами народа раз навсегда.

В „Записках еврея“ Богрова, в „Очерках прошлого“ Леванды мрачными красками обрисовано доброе старое время, когда господствовали патриархальные отношения, когда всей жизнью руководили меламеды в школах, старые суеверные бабушки в семье, суровые фанатики в общине.

Еврейские начальные школы-хедеры и еврейские семинарии-ешиботы были неизмеримо страшнее бурсы Помяловского.

Среди посетителей хедеров и ешиботов, придававших человеку особый дух, „особое понимание“, были „ходячие талмудистсткие трупы“, но были и люди редких способностей и пытливой мысли. Эти люди задыхались в духоте и рвались на простор.

О том, как ученики хедеров и ешиботов, эти аскеты, становились вольнодумцами, которых, точно по какой-то иронии, называли эпикурейцами, рассказывают в своих воспоминаниях А. Паперна („Пережитое“, т. II, III) и Ковнер. („Из записок еврея“— „Истор. Вестн.“, кн. III, IV, 1913 г., псевдоним А. Г.). В особенности ценны воспоминания Паперны, написанные прекрасным языком, яркие и образные.

Оба—видные журналисты, впоследствии публицисты и критики, и Ковнер, и А. Паперна с четырех лет уже сидели над Библией, под руководством меламедов, ежедневно по десять часов. „Когда я научился грамоте,—пишет Ковнер—будущий „нигилист“,—не помню, знаю только, что четырех лет я уже сидел над Библией, а в шесть меня уже мучили изучением Талмуда“. Будучи семилетним мальчиком, Ковнер сочинил уже на древне-еврейском языке большую поэму в стихах на тему библейского рассказа. Он хорошо знал еврейский язык и в 12 лет не только знал почти всю Библию наизусть, но и был сравнительно хорошо знаком с главнейшими представителями еврейской литературы. В 12 лет он уже увлекался запрещенными книжечками. Попав в семью, глава которой часто подолгу живал в Кенигсберге, Ковнер еще больше пристрастился к чтению светских книг. „Чувствовалось в воздухе, да из „запре-

щенных“ книжек я знал, что где-то дышет и живет целый мир божий, которому нет дела до таких вопросов,—можно ли употреблять яйцо, снесенное курицей в праздничный день; можно ли употреблять посуду, если в нее попала капля молока; действителен ли развод между супругами, если в письменном тексте развода испорчена хотя одна буква. Подлежит ли смертной казни мужчина, нечаянно сочетавшийся с чужой женщиной... Но этот чужой заманчивый мир был для меня не доступен, и не знал я выхода из моего гнетущего состояния“ (1001). Путем страшной борьбы, страдания, разрыва со старым, после тайного побега в Киевский университет, юноше удается пробиться в этот чужой, заманчивый мир.

Паперна, отец которого постоянно бывал в Германии, переходит постепенно от религиозных книг к новым книгам из библиотеки его отца. Мальчики—его товарищи „из безбрежной однообразной талмудической пустыни вдруг переносились в чудный сад со свежею, прекрасною, разнообразною и разноцветною растительностью; из тесной, душной атмосферы „клауза“ открывался вид на широкий божий мир; атрофированное сухою казуистикой чувство оживало, давно заброшенная и забытая поэзия вступала в свои права“ („Пережитое“, т. III, стр. 323).

Вот эти „вольнодумцы“, выраставшие в „духоте“ становились пламенными борцами за широкий мир, за вольный свет. Один из ешиботников-вольнодумцев у Ан—ского Улер, юноша, похожий на семинариста и знавший талмуд наизусть, говорил, что пожертвовал бы жизнью, дал бы себе отрубить голову, чтобы все евреи стали образованными („Пионеры“, т. 3., стр. 141).

Любители просвещения влюбляются в просвещение: в „Дщерь Неба“ — Гаскалу, как Дон-Кихот в свою Дульцинею. Они объявляли в стенах гетто войну раввинской схоластике и хасидской мистике и владычеству цадиков-чудотворцев в темной массе. Они шли против всех, кто учил: „мертвым быть на земле, быть живым в небесах“, против суеверной массы,—шли,

как рыцари прекрасной дамы с именем европейской культуры на устах.

Первые просвещенцы—маскилы-„отцы“, „берлинеры“ были последователями берлинскаго философа Моисея Мендельсона (1729—1786 г.), друга Лессинга, переводчика Библии на немецкий язык с древнееврейского. Они усвоили лозунг всей жизни и всей деятельности этого Натана Мудрого: „Просвещение!“. Они возлагали на человека обязанность самоусовершенствования, состоящую в познании бога и его творения, обязанность изучения мудрости естествознания, физики, математики, астрономии и прочих наук, а так как эти науки были мало разработаны у евреев, то долгом маскила являлось изучение европейских языков, главным образом, немецкого. Кроме того признавалось необходимым знать какое-нибудь ремесло, чтобы честным трудом добывать себе пропитание и не жить на хлебах у общества.

Последователи Мендельсона стремились доказать совместность истинной религии и еврейского просвещения. Общий лозунг авторов той этохи был: „Тора и мудрость, вера и разум (ratio)“. Эти рационалисты-просветители были лишены исторического чутья, они верили, что миром правят идеи. Они считали себя не еретиками, а реформаторами.

Первые просветители проявили героическую стойкость, несокрушимую энергию и пламенную веру в свой идеал, в борьбе против традиций, освященных веками, и им удалось пробить первую брешь в глухой стене, окружавшей средневековое гетто. Но первые маскилы, самоучки или „автодидакты“, были людьми переходной эпохи. Борясь со старым, они оставались евреями-идеалистами.

В повести Ан—ского „Пионеры“ маскил-„отец“—самоучка, пробивший себе дорогу, говорит маскилам-„детям“, сыну гимназисту и его товарищу, выходцу из Милославки: „*Не торопись сбрасывать с себя всего еврея*, не торопись разрушать все ограды“ (Соч., т. III, стр. 181).

Маскилы - „отцы“ — переходные типы переходной эпохи порой шли на мученичество. Тот же отец-маскил разсказывает „детям“ - маскилам, *что* приходилось переживать первым просвещенцам 25 лет тому назад, когда кругом был глубокий мрак, когда раввин и его компания были полновластными хозяевами города; когда хранение у себя таких произведений, как Библия с Биуром (Библия в немецком переводе Мендельсона с комментариями), было равносильно подвигу самопожертвования; когда людей сживали со света, избивали до полусмерти, сдавали в солдаты за малейшее прегрешение против религии.

... „А как мы учились?! Разве мы знали, с чего начать?! Разве у нас были книги?! В полночь, прячась в сараях и погребах, с риском для жизни учились мы русской грамоте. И как учились! Товарищ, умерший от чахотки, выучил наизусть русско-немецкий словарь, — русско - еврейского тогда еще не было, и таким образом выучился по-русски. Другой товарищ выучил наизусть „Свод законов“, чтобы сразу и по-русски научиться, и законы узнать. А вы? Где ваш героизм? Где ваши жертвы?! (соч., т. III, стр. 184—186).

В маленьких городах и местечках Западного края, о которых мы, русские читатели, узнаем впервые из разсказов еврейских писателей, во всех этих Копысях, Новых Жагорах, Новогрудках, в таких центрах умственной жизни, как Вильна, Воложин, борьба кипела. Порой эта борьба принимала средневековый характер,—от приемов фанатиков старины, сжигавших запрещенные книги и сживавших со света мечтателей-идеалистов,—пахнет временами великих инквизиторов, которые в религиозном рвении жгли на кострах еретиков.

Г. И. Богров в „Записках еврея“ рисует образ слабовольного отца, своего героя, ученого идеалиста, влюбленного в астрономию и математику и за это преданнаго проклятию. Трудно читать без нервного холодка страницы, посвященные суду над бедным юношей, который был женат с двенадцати лет на дочери знаменитого раввина (т. I, стр. 19).

Вольнодумцы более активные объявляли старому миру беспощадную войну. Для них средневековье в школе и в семье, у себя дома, было ненавистнее средневековья в русской политическсй жизни. Для них шел вопрос о том, кто будет идейным руководителем народа: старые клерикалы или новая интеллигенция? Но они еще сами, оставались детьми еврейского гетто и не чувствовали себя гражданами целой страны, которая задыхалась под гнетом муштры и солдатчины. Для борьбы внутри гетто они забывали об условиях внутренней жизни всей России. Больше того, первые маскилы, чувствуя свою слабость, объединялись с грубой внешней силой для победы над сплоченным косным обществом. В то время консерваторы-мракобесы были в оппозиции к правительству, желавшему просветить евреев в своих целях и своими способами, а прогрессисты - просветители были лойяльны. Писателю-маскилу Гордону даже период „Уриэля Акосты" казался недопустимым радикализмом. А. И. Паперна в своих „Воспоминаниях" ссылается на И. Б. Левинзона, который проповедывал верность и любовь к государственной власти, на А. Б. Левинзона, который был таким пламенным певцом николаевскаго века, как Державин—екатерининского. „Не то, чтобы эти люди не чувствовали бедствий своего народа,—пишет автор „Воспоминаний",—нет, они чувствовали не менее, если не более других, но причины этих бедствий и унижений они видели не столько вне, сколько внутри современного им еврейства. И в этом была значительная доля правды. Суровый и всевластный раввинизм наложил на народ тяжелое бремя, сковал его дух и тело в железные цепи, не давая ему свободно двигаться, дышать, преграждал ему всякие пути к знанию, к свету, к красоте, к радостям жизни. Клерикализм—вот враг, говорили они, подобно Гамбетте". („Пережитое", т. III, стр. 352).

Проповедь европейской культуры была связана с процессом европеизации страны. Россия уже вступала на путь капитализма. Нарождавшаяся буржуазия в еврействе становилась прогресивной и вела борьбу

против старого и отжившего в союзе с правительством.

Первые органы „маскилов"-„отцов" появились на древнееврейском языке. Первые книги—иностранные были, главным образом, немецкие.

Паперна вспоминает, что в ящике его отца, часто бывавшего в Германии, были: полные комплекты сборников „Меасеф", Шульмана—описание Палестины, Эйхеля—биография Мендельсона и т. д., а в библиотеке отца были немецкие классики. У героя рассказа Рабиновича—„Штрафной" на столе, в числе других книг немецких и еврейских философского содержания, лежала книга Мендельсона „Ерусалим"; у другого героя того же автора Морица Сефарди, приехавшаго в Одессу из немецкой земли „из города Лайпска" (Лейпцига), на столе лежит: немецко-русский словарь, сочинения Жан-Поля и Гете. В библиотеке Сони Аронсон (из романа Л. О. Леванды—„Горячее время")—Мишле, Гизо, Вебер, Шекспир, Шлоссер, Мендельсон, Кант, Фихте, Фейербах. „Главным образом, немецкие авторы... Все книги ее отца просвещенца—„берлинера", воспринявшего немецкую культуру, чему способствовало то обстоятельство, что купцы Западного края по торговым делам часто бывали в Германии. Они, естественно, являлись первыми вестниками еврейской культуры. Сами представители еврейской буржуазии, привозившие вместе с товаром нечестивые книжки из Лейпцига или Кенигсберга в разные местечки, усвоили только внешний европейский лоск, как биржевик Морис Сефарди О. Рабоновича, его же банкир Меерсон или владельцы торговой фирмы, Фиршич или владельцы торгового дома Вальтер и компания („Калейдоскоп" О. Рабиновича). Они меняли родные имена на немецкие, одевались по-европейски, отказывались от многих обычаев, но были чужды истинной образованности.

„Теперь у нас все на немецкий манер,—говорит героиня романа Л. О. Леванды „(Горячее время". Еврейск. Библиот., т. I, стр. 2).

„Этот немецкий манер", „европейский лоск" заменяли истинную культуру для представителей купечества. Это была *чисто внешняя европеизация,* европеизация постольку, поскольку этого требовали торговые дела. Эту внешнюю европеизацию беспощадно разоблачал и обличал в своих романах О. Рабинович—просвещенец второго периода. Но сами идеологи—лучшие представители интеллигенции глубоко и сознательно усвоили принципы европейской культуры.

ГЛАВА III.

ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ РУССКО-ЕВРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Лев Невахович. Поэт А. Л. Мандельштам.

Задолго до выхода в свет первых русско-еврейских периодических органов появляются обособленные и случайные произведения еврейских писателей на русском языке. Эти произведения написаны под влиянием Моисея Мендельсона и его ученика—кременецкого философа И. Б. Левензона. Эпиграфом ко всем этим страницам русско-еврейской литературы могли бы послужить слова из записок первого еврея-студента в России Л. И Мандельштама: „Три идеала управляли доныне моим духом и сердцем: образование, родина и моя нация“ („Пережитое“, т. I, стр. 17). Все произведения того времени носили апологетический характер, и все проникнуты грустью и верой в лучшее будущее.

Первым еврейским публицистом, писавшим по-русски, был Лейба (Лев) Невахович, выпустивший в 1803 г. „Вопль дщери иудейской“ (полностью перепеч. в сб. „Будущность“, т. III—1902),—произведение, посвященное министру внутренних дел Кочубею.

Горячий последователь Моисея Мендельсона обращался более к власти, чем к общественному мнению. Это была горячая защита гонимого народа. В основе ее была положена идея: „прежде, чем обвинять кого, внемли гласу его“. Лев Невахович остроумно и убедительно опровергает обвинения против евреев и высказывает ценную для того времени мысль, что „искаженные нравы целых народов не могут иначе исправиться, как *посредством отнятия причин*, произведших превратность в оных“.

Таким образом уже первый публицист выступает апологетом своего народа и просветителем, он жа-

ждет „переменить сердца и мысли человеколюбивых россов“, он верит в силу разума, и он взывает ко всем человеколюбивым и сострадательным, а в особенности к предержащим властям, уверенный, что „предприятия россиян имеют всегда быстрейшие и почти неимоверные успехи“.

В 1849 г. ходило по рукам стихотворение Р. М. Кулишера, связанного в юности дружбой с И. Б. Левинзоном. Это стихотворение он написал, будучи студентом Петроградского университета. Оно было характерно для настроений и взглядов тогдашней немногочисленной интеллигенции, для пионеров Гаскалы. Все оно дышет умственностью и проникнуто от первой до последней строки жаждой разрушить „всеобщий приговор презрения“ по отношению к еврею, приговор тех, которые „будят ненависть в сердцах к нему и в прозе, и в стихах“. Изгнанник общества, бесправный предлагает оставить ссоры и ненавистные слова и подумать о правах народа, который достоин этих прав, с колыбели чтит „от бога данное ученье“ и готов за него перенести мученье, обиды и горести.

Ответив „на все упреки клеветы“, еврей, выступивший на борьбу за еврея, заканчивает свой ответ пророчеством, что будет время, когда еврею дадут „русский и поляк желанный примиренья знак“.

Это примитивное по форме стихотворение ценно своим содержанием. Автор-еврей выразил в нем коллективную мысль. В нем, как в краткой схеме, намечены основные идеи будущих „рассказов долгой муки“ с их апологией и с их вечной мечтой о лучших условиях, с их пренебрежением к форме и вечным тяготением к умственности.

Теми же настроениями полны стихотворения Л. И. Мандельштама, выпущенные им в 1841 г. отдельным томиком в Москве. Будущий переводчик Библии (на русский с древне-еврейского), первый студент-еврей покинул свое родное местечко „Новые Жагоры“, чтобы получить высщее образование в Москве. С ран-

него детства он „денно и нощно“ занимался талмудом и с детства познакомился с мендельсоновским немецким переводом Библии. Отец его часто бывал в Германии и видел, *„как прекрасно вера может соединяться с образованием“*. С детства будущий поэт переживает страстную жажду знания и усовершенствования, жажду устремиться в путь. На 16-м году он начал учиться русскому языку и то самоучкой. В его автобиографическом очерке („Из записок первого еврея-студента в России“) он говорит, что девять лет учился русскому языку, чтобы читать Пушкина. В каждой строчке вы видите, как трудно достался автору не родной ему язык. На каждом шагу попадаются немецкие обороты. Он сам это сознает: „Я смотрю на свои стихи,—пишет он в „Записках“,—как на перевод с еврейского. перевод мысленный и словесный: чувствую темные выражения и недостаток ловкости по слогу; а мрачный мученический призрак духа без тела, так же, как иудаизм, вьется по всему ходу этого сочинения“ (стр. 50).

В этом первом сборнике прозаичных, рассудочных, переведенных, неталантливых, неуклюже сделанных стихов все-таки выпукло выступали черты из жизни молодого еврея 40-х г. Надо прислушаться к этому первому лепету, в котором уже намечалась драма интеллигента-еврея, уходящего от своих и чуждого той родине, которой он несет весь свой пыл.

Вот стоят друзья и братья,—
Милый круг родных,
Простираю к ним объятья,
Чтоб оставить их.
Там вдали я одиноко
Свету чужд всему,
Руки к ним простру далеко—
Их не обниму.
Что ж вы, *чувства в вечном споре,*
Рвете, рвете грудь,—
Выберите в тяжком горе:
Родину иль путь.
Одному мне плавать в море,
С братьями ль тонуть (стр. 17—18).

В этом юношеском сборнике поэт мечтает о новой жизни для своего гонимого народа. Прекраснодушный автор верит в торжество разума, в торжество истины, добра и красоты и в мирную победу начала гуманности. В своем патриотизме примитивном („Бородино") он еще не научился отделять страну от тех, кто правит страной. Он смешивает отечество с правительством. В Москве он молится „с мольбой простоты за светлую Русь, за царя Николая" (стр. 35). Настоящей духовной родиной раннего просвещенца с его абстрактными построениями является не русский Восток, а германский Запад.

ГЛАВА IV.

ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ.

Первые органы. Патриархальная семья. О. Рабинович. Т. И. Богров. Л. О. Леванда.

В конце 50-х г.г., в начале 60-х г.г. маскилы-„дети“, люди другой эпохи и другой среды, прошедшие через раввинские училища, гимназии, университет, люди, часто чуждые богословскому воспитанию, становятся горячими ассимиляторами. Они верят в эмансипацию еврейского народа, грядущую вместе с эпохой великих реформ. Прекраснодушных идеалистов 40-х г.г. сменяют просветители-реалисты шестидесятники, реалисты романтической складки, ибо в душе расцветают золотые грезы о празднике правды, они видят сладкие виденья народного пира, пира свободы.

Если в николаевскую эпоху еврейские произведения на русском языке являлись теми случайными ласточками, которые не делают весны, то теперь мы видим уже зарождение русско-еврейской беллетристики в теснейшей связи с русско-еврейской журналистикой.

Бодростью, доверием, оптимизмом веяло от первых русско-еврейских органов: от „Рассвета“ (1860—1861 г.), „Сиона“ (1861 г.), „Дня“ (1869—1871 г.), появившихся один за другим в Одессе. Редактор первого органа с полным основанием предлагал смотреть на свой журнал, „как на событие, *которым обозначается вступление евреев в России в новый фазис общественной жизни, как на черту, отделяющую старое время от нового*“ (соч. Рабиновича, т. III, стр. 123).

Правительство прекрасно учло значение этого события, учло и приняло меры. Начались цензурные преследования. По образному выражению Рабиновича, „Рассвет“ скончался от астмы“. Та же астма заду-

шила „Сион“, пытавшийся ответить на юдофобские выходки „Основы“, свободно клеветавшей на целый народ. Та же астма придушила „День“, когда эта газета пыталась объективно рассказать о погроме 1871 г. в Одессе, о том, что творилось в Светлую пасхальную ночь. Рассказать не удалось, и „День“ закрылся, не желая позорным молчанием прикрывать официальную ложь.

Но энергия не покидала еврейских писателей. После 1871 г. центр просветительной и литературной деятельности переносится в Петербург где отсутствовала еврейская масса, но где группировалась еврейская дипломированная интеллигенция.

Там еще в 1863 г. зародилось „Общество распространения просвещения между евреями в России“, стремившееся *создать прежде всего русско-еврейскую интеллигенцию*, создать новую еврейскую общественность вместо старой.

В 1871 г. в Петрограде выходит „Вестник Русских Евреев“, а в конце 70-х г.г.—ряд органов. Там же, в Петрограде, с 1871 г. А. Е. Ландау—будущий редактор „Восхода“—начинает выпускать книгу за книгой сборники „Еврейской Библиотеки“. Этот неутомимый собиратель еврейской литературы, благодаря колоссальной энергии которого вышли сотни томов, посвященных еврейству, за 30 лет выпустил десять томов „Еврейской Библиотеки“, в высшей степени содержательных, серьезных и ценных для истории литературы и общественности.

В „Еврейской Библиотеке“ писали и русские авторы—В. Ф. Корш, В. В. Стасов, поэт Д. Д. Минаев и др., а, главным образом, представители еврейской оппозиционной интеллигенции. С этой трибуны говорили еврейские ученые публицисты—Оршанский, Гаркави, М. Кулишер, А. Ландау, Д. Л. Слонимский, Ковнер, еврейские поэты и беллетристы: П. Вейнберг, М. Абрамович, Л. О. Леванда, В. Никитин, Г. Богров и др. Еврейские писатели хотели пополнить пробел в русской литературе и поведать, в каких условиях жил и живет еврейский народ.

Во втором томе „Еврейской Библиотеки“ редакция указывала, что, выпуская сборник, имела в виду „главным образом, ознакомить русскую публику с тем, *чем были* евреи, *чем* они *стали теперь*, и *чем* они *могли быть* при известных условиях“ (стр. VII).

Борьба за эти известные условия, борьба за сближение и слияние, борьба против деспотизма отцов и напускного, поверхностного европеизма еврейской буржуазии вдохновляет писателей в этот период. Но прежде всего надо было рассказать о пережитом кошмаре, о том, что *было*, и вбить осиновый кол в могилу прошлого. Это выпало на долю первых еврейских беллетристов О. Рабиновича (1817 — 1869), Г. И. Богрова (1825 — 1885), Л. О. Леванды (1835—1888), В. Н. Никитина (1839).

Это были художники среднего дарования, но у каждого была своя индивидуальность, и каждый занял *свое* положение в русско-еврейской литературе. Л. О. Леванда, очень ревностно относящийся к своему таланту, считал *неотъемлемой и важнейшей* заслугой О. Рабиновича то, „что он первый из русских евреев стал твердой ногой на почву *отечественной литературы*, что он первый сделался *русским* литератором и тем в лице своем предъявил оспариваемое, но неоспоримое право своих единоверцев на полное гражданство в *Российской* империи“ („День“, 1869 г., стр. 449, № 29. „Несколько слов об О. А. Рабиновиче“).

О. Рабинович, мягкий, задушевный беллетрист, выросший под небом Малороссии, под небом Гоголя (Кобеляки, Полтавск. губ.), в некоторых своих произведениях сохранил малороссийский колорит, а порой даже бессознательно пишет под Гоголя („Калейдоскоп“). В некоторых своих очерках, где на первом месте выступает еврей-горемыка, он пишет в духе автора „Антона-Горемыки“ („Штрафной“). Прекрасно зная коммерческий мир, он задолго до С. Юшкевича показал целый ряд типов „Приобретателей“ и жизнь торговых домов в Одессе („Морис Сефарди“, „История торгового дома Фирлич и К°“, „Калейдоскоп“).

Если О. Рабинович завоевал известность в 1859 г. разсказом „Штрафной“, затронувшим самые широкие демократические слои еврейского народа, то Л. О. Леванда, нашумевший первыми обличительными корреспонденциями в „Рассвете“ (1860 г.), занял ответственное место в русско-еврейской литературе после появления его знаменитого романа „Горячее время“ в трех книжках „Еврейской Библиотеки“ (71—73 г.г.). Он *первый* показал в лице своего героя Сарина еврея-гражданина России.

У него не было редакторской выдержки О. Рабиновича, зато он являлся писателем в высшей степени темпераментным, умевшим не только уловить момент, но и загораться и зажигать. Это был настоящий сын „Горячего времени“.

У него не было чувства меры; в „Очерках прошлого“, как обличитель, он впадал в шарж, в каррикатуру. Это—беллетрист-памфлетист. Эту черту он ярко проявил в очерке „Пейсы моего меламеда“.

Он обладал историческим чутьем, знал польскую жизнь, ее прошлое, ее заветные думы и мечты. Это он обнаружил в исторических рассказах („Авраам Иозефович“, „Гнев и милость магната“) и в особенности в романе „Горячее время“ из эпохи польского восстания 1863 г.

Леванда переходил от настроения к настроению: от одной основной идеи к другой—противоположной) в первом романе „Депо бакалейных товаров“ (1860 г.) он—космополит, в „Горячем времени“ (1871—73 г., он — обруситель, в публицистике — после погромов 81 г.—палестинофил-националист.

Автор „Записок еврея“ Г. И. Богров (род. в Полтаве) стал изучать русский язык уже после женитьбы, с 17 лет. Женился он по требованию родителей, был несчастен в браке, и это несчастье почти всей его жизни направило его талант на борьбу против патриархальной семьи. В конце 60-х годов он принес первые главы своих „Записок“ Н. А. Некрасову. Они понравились, были приняты редакцией и появились в „Отечественных Записках“ (70—72 г.г.). Салтыков-Щед-

рин немало поработал над ними. В романе Г. И. Богрова, обнимавшем, подобно роману датского художника Гольдсмидта „Еврей“, жизнь еврея от рождения, в центре стоял вопрос о еврейских браках, о замкнутости и деспотизме старой семьи. Подобно Островскому, Г. И. Богров раскрывал весь гнет „Темного царства“. В этом трехтомном романе слышится нотка озлобления: накипело и наболело на сердце у автора. За вымыслом чувствуется свое, и это свое ослабляет силу обличения. В самой проповеди ассимиляции, в идеализации христианской семьи не порыв, а надрыв. Когда читатели-евреи порицали Г. И. Б. за то, что он „выносит сор из избы“, он отвечал, подобно О. Рабиновичу: „Кто хочет избавиться от бичевания чужой руки, тот должен бичевать самого себя. Самобичевание честнее и не так больно“ (т. III, стр. 279). У него был ненавистный враг—фанатизм обскурантов, и с ним он фанатически боролся.

В. Н. Никитин наименее был одарен художественным талантом. Это скорее ученый, чем художник. Он внес серьезный вклад в историю еврейского народа своим капитальным исследованием „Евреи-земледельцы“. Как чиновник особых поручений при министерстве земледелия, он сумел использовать богатейший материал.

Но у этого чиновника из евреев было мучительное прошлое: он с детства попал к кантонисты, был вынужден креститься. Эта никогда незаживаемая рана в душе прекрасного человека, до конца дней своих верного своему народу, превратила Никитина в беллетриста. Его обстоятельные очерки „Из быта кантонистов“ неизмеримо менее талантливы, но не менее важны для русской литературы, чем „Очерки бурсы“ Помяловского. Они—выстраданы.

„Многострадальные“ Никитина, „Горячее время“ Леванды, „Записки еврея“ Богрова появляются одновременно в журналах.

Ближайшие сотрудники и руководители первых русско-еврейских органов—О. Рабинович, Л. О. Леванда, Г. И. Богров были выразителями настроений

нового поколения еврейской интеллигенции, просветителей-ассимиляторов. Их беллетристика шла рука об руку с публицистикой, все они были больше публицисты, чем художники, и все могли сказать о своих „невымышленных рассказах", грубо реалистических, порой примыкающих к энтографии, то же, что пишет В. Никитин в своем авторском объяснении к выпущенной отдельным изданием в 1872 г. книге „Многострадальные" (очерки из книги кантонистов): „Что же касается, наконец, избранной нами *беллетристической* формы изложения, то мы предпочли эту потому собственно, что в ней легче, казалось нам, изложить факты, да и читать, думается нам, удобнее" (стр. 260).

О. Рабинович, Л. О. Леванда, Г. И. Богров, В. Никитин, как беллетристы-иллюстраторы и осведомители, часто прерывают рассказ для длиннейших прозаических рассуждений, напоминающих те газетные корреспонденции, с которых началась их литературная карьера. Они не создали ни одного „прелестного" рассказа, не было в их произведениях радостной игры и светлой улыбки искусства.

К сожалению, первые беллетристы еще не вполне освоились с русским языком, еще не вполне сжились с ним, им чужда „пленительность русской медлительной речи", все богатство, все изгибы, переливы и перепевы русского языка. У Леванды много полонизмов. Но, по сравнению с первыми случайными авторами „берлинерами", писавшими на русском языке, беллетристы-ассимиляторы далеко ушли вперед. Излюбленными темами этих беллетристов были: трагикомедия брака, гнет патриархальной семьи и ужас николаевской рекрутчины.

В „Очерках прошлого" Л. О. Леванды, в „Картинах прошлого" О. Рабиновича, в „Записках еврея" Г. И. Богрова воскресла мука целых поколений. Проходили длинной вереницей сваты, свахи, двенадцатилетние мужья и восьмилетние жены. Мужей сек еще их наставник, а жены играли в куклы. „Моего бедного отца в 12 лет женили... Отец мой не видел назначенной ему спутницы жизни до второго дня

свадьбы, нашел ее при дневном свете не слишком соблазнительной“, — рассказывает герой „Записок еврея“ (соч., т. I, стр. 10).

Все браки устраивались не по любви, а по сватовству. Иногда браки устраивались по постановлению общества. Беллетрист Ромбро вспоминает о холерной свадьбе, разыгранной на кладбище для спасения местечка от холеры („Восход“, 1884 г., май).

О том, что выходило из таких браков, рассказали Г. И. Богров („Записки еврея“), Л. О. Леванда („Депо бакалейных товаров“, очерки „Пэшка“, „Еврейский Вертер“), О. Рабинович („Мориц Сефарди“, „Калейдоскоп“). Все их рассказы—бунт против того уклада, где людей приучили жить умом за счет сердца, бунт в защиту личности.

„Не встречали ли мы на каждом шагу живые примеры, свидетельствующие,—пишет Л. О. Леванда („Очерки прошлого“, стр. 165),—что не только старое поколение, у которого не могло быть помина о любви, но даже и наше молодое поколение, образующееся, читающее и увлекающееся, еще далеко не смотрело на любовь, как на нечто важное“.

Ото всех этих „национальных романов“, пережитых и Богровым, и Ковнером, веет жутью. Их мог рассказать человек, переболевший вечной драмой живых примеров... О том, как стужа жизни убивала майский цвет, рассказали нам еврейские художники: один с гневным сарказмом (Богров), другой с веселым юмором (Л. Леванда), третий—с глубокой и нежной грустью, а порой даже с изящной тонкостью (О. Рабинович).

В особенности трогательна и прекрасна история малютки Тиллы и ее покровителя—бедного шарманщика Переца („Калейдоскоп“)... В передаче истории Тиллы, в описаниях ее встречи с отцом-банкиром, ее детской любви к Перецу, ее отношения к блестящей партии, которую придумал для нее рассчетливый отец, ее смерти—столько глубокого лиризма и столько живой укоризны уродливому быту, что у читателя невольно сердце сжимается от боли. Если бы эту исто-

рию не загоромождал целый „калейдоскоп“ добавочных лиц и сцен, она была бы одной из прекраснейших в русско-еврейской литературе.

Как жаль, что этот старый быт не нашел среди евреев-художников своего Островского. „Жестокие нравы“ царили в патриархальных еврейских семьях. Там были свои Кабанихи и свои Катерины. Там были свои драмы. Еврейский беллетрист *только коснулся их* и „Грозы“ не показал, хотя, в действительности, пережито было гроз не мало.

ГЛАВА V.

РЕКРУТЧИНА.

„Штрафной“ и „Наследственный подсвечник“— О. Рабиновича. „Очерки из быта кантонистов“— В. Никитина. „Пойманник“—Г. И. Богрова.

В николаевскую эпоху были *иные* грозы, эти грозы гораздо глубже волновали и мучили *целый народ*, который вынужден был сносить их молча десятки лет. Перед этими грозами личные драмы казались лишь бледными зарницами. Вот почему у первых еврейских писателей, с уменьшением цензурного гнета, на первый план выступала страшная, незабываемая эпоха николаевской солдатчины и муштры. Все они с каким-то содроганием пишут о жертвах „доброго старого времени“, о „пойманниках“, „штрафных“, кантонистах, ибо всех этих по истине „многострадальных“, имена их Ты, Господи, веси. Это какой-то кровавый синодик, а не рассказы. Мучительно их читать, но прочесть их надо, прочесть и с болью стыда подумать: а наша литература и наши читатели *этого* не замечали.

Рабинович, Никитин, Богров, рассказывая, вовсе не думали о красоте формы, они просто записали и поведали „добрым людям“ „потрясающую душу повесть“. Конечно, эту повесть можно было поведать, и то с пропусками, только после смерти Николая I, который считал евреев „вредным элементом“ и пытался „уничтожить еврейский религиозно-нациналь-

ный тип посредством милитаризации молодого поколения“, путем привлечения полудетей к отбыванию воинской повинности. По 8-й ст. Устава евреи, представляемые обществами при рекрутских наборах, должны быть в возрасте от 12 до 25 лет; по другой статье, „евреи-малолетние“, т.-е. до 8 лет, обращаются в заведения, учрежденные для приготовления к военной службе“. У христиан брали в кантонисты лишь детей солдат, малолетних же евреев приказано было брать из всех семейств без различия, при чем годы подготовительной службы не зачислялись в срок обязательных 25 лет. Если требуемое число рекрутов не доставляли к сроку, вербовщиков, поверенных общины еврейской облагали штрафом; иногда этих „штрафных“ сдавали в солдаты.

За убегавшими перед набором юношами и отроками охотились агенты общины—„ловцы“ и „пойманников“ сдавали закованными попарно начальству, их отсылали подальше от родной, национальной среды в заведения кантонистов, где принуждали креститься.

А. И. Герцен, случайно встретивший партию евреев-кантонистов 8—10-летнего возраста, был потрясен ужасным зрелищем и писал в „Былом и думах“: *„Ни одна черная кисть не вызовет такого ужаса на холсте“*.

Правительство надеялось, что 25-летняя служба, сдача в солдаты юношей и даже детей, удаление от родной среды, настойчивое воздействие в духе православия исправят еврейство и растворят его в христианском населении. О результатах этого воздействия вспоминают бывшие кантонисты: Шпигель („Евр. Старина“, т. III, вып. II, 1911 г., стр. 249—258) и Леонтий Губер (Войтинский и Горнштейн „Евреи в Иркутске“).

25 декабря 1856 г. после смерти Николая I был обнародован знаменитый указ Сената о прекращении обязательного приема в кантонисты солдатских сыновей и в рекруты малолетних евреев. Это было „ныне отпущаеши раба Твоего“, и указ встречали евреи,

как весть об исходе из Египта. Только теперь еврей-писатель мог заговорить о мучителях и мучениках недавнего времени.

Рассказывают, что в 1826 г., когда был опубликован указ о рекрутчине, жители Старо-Константинова написали прошение богу Израиля и вложили его в руки одного из умерших членов общины для передачи по назначению. Теперь, после 1856 г. народ вручил рассказ о пережитых муках еврейскому писателю, его живой душе. Этот рассказ должен был дойти до сердца русских читателей, и этот мрачный рассказ писали „черной кистью".

О. Рабинович свой трогательный очерк „Штрафной" напутствовал такими словами: „Из мрака прошедшего предо мною восстают тени, но не давно забытые, как обыкновенно говорят, а долго спавшие на дне моей памяти. Я редко вызывал эти грустные воспоминания, потому что они терзали мне душу... но теперь, когда настоящее принимает такие светлые формы, когда мое сердце (и, может быть, сердца многих) отдохнуло от этого напряженного состояния, в которое его вогнала шаткость каждого дня, я начинаю чувствовать боль о прошлых ранах".

Первый рассказ О. Рабиновича „Штрафной" был напечатан в „Русском Вестнике" (1859, кн. IV). Для самых широких кругов еврейского народа он был тем же, чем явился рассказ Григоровича „Антон Горемыка" для русских читателей. Евреи-горемыки всей душой откликнулись на теплую и нежную ласку художника.

Биограф О. Рабиновича рассказывает, что за прочтение книжки „Русского Вестника" платили большие деньги. Книжка появилась в домах тех евреев, которые считали грехом держать у себя напечатанное нееврейским шрифтом. В молитвенных домах и ешиботах даже допускали грамотеев переводить эту книжку на жаргон.

Знаменитый историк Иост перевел „Штрафного" на немецкий и английский языки, и все первое издание этой повести в количестве 4800 экз. разошлось

в две недели. Вышедший после появления повести закон—о возврате всех отданных за штраф в военную службу должностных лиц общины—народная молва и даже заграничная печать приписывали влиянию „Штрафного".

Нам уже трудно читать этот сантиментальный рассказ с его пояснениями и отклонениями. Он проникнут горячей любовью к еврейскому народу, к его наиболее демократическим слоям.

Автор, подобно своим героям, спешит рассказать „много историй о вопиющих несправедливостях".

„Штрафной" попал в солдаты вне очереди „за штраф", был разлучен с семьей, с любимым делом и до смерти жил на чужбине.

Шаг за шагом рассказывает О. Рабинович о гибели близких этого человека, взятого в солдаты за недоимки по рекрутчине. Но и умирая, он не знает протеста и даже ропота. Он принимает все „с любовью" и всепрощением, он призывает и других исполнять „честно земные законы" и не вникать в их смысл. Кротость, безропотность, незлобие этого истинного непротивленца вас возмущают, но художник верен исторической правде.

Этот мирный торговец, просвещенец-идеалист, человек 40-х г.г., столкнувшись с николаевской действительностью, предается „резиньяции" и умирает, как мученик, окруженный своими единоверцами-„пойманниками".

Другой рассказ О. Рабиновича „Наследственный подсвечник" тоже относится к „картинам прошлого". В нем богаче фабула и меньше отклонений в сторону. И здесь то же покорное мученичество. Рассказывая о гибели деда и отца—солдат, матросов—„казенных людей", старуха-бабушка замечает: „Когда ты, глядя на подсвечник, подумаешь о бабке, подумай и о них, подумай с любовью и сожалением, но *чтобы ни проклятия, ни негодование* не смешивались с этой священной памятью".

С большим юмором и знанием жизни О. Рабинович набрасывает черты второстепенных лиц и ве-

селые бытовые картины, но художник вместе с героями мог бы сказать о своих рассказах: „У нас пока ни одна радость не может обойтись без того, чтобы мы не обратили внимания на судьбу еврейского народа... Как-то невольно разговор обращается сам собою на грустные предметы“.

Этим отличается не только О. Рабинович, которому в молодости все *улыбалось* впереди, и веселый характер которого рисовал все в *светлых* красках; это—характерная черта всех еврейских авторов. Если у Н. В. Гоголя смех сквозь слезы, то у них плач сквозь улыбку.

У бывшего кантониста Никитина нет даже и намека на улыбку. В своих беспросветных очерках говорит он о жизни детей-мучеников.

Когда-то Писарев, сравнивая жизнь бурсаков Помяловскогос жизнью каторжников из „Мертвого дома“, пришел к выводу, что в бурсе жилось хуже, чем в тюрьме; к подобному же заключению приходил и В. Н. Никитин, сам видевший погибших и погибающих в знаменитых „заведениях“. Когда одного из кантонистов-протестантов после 400 ударов розгами отдали в каторгу на восемь лет, он был счастлив. Никитин видел его после побоев вышедшим из лазарета—неузнаваемую тень прежнего красивого, здорового юноши, слышал его радостное известие о каторге и заметил в своих очерках: „По-своему простодушию он не допускал и мысли, чтобы жизнь в каторжной тюрьме была хуже житья в заведении кантонистов. И судя по запискам „Из Мертвого дома“, это вполне основательно“ (стр. 126).

В другом месте этой правдивой, сдержанно написанной книги, „*без всяких литературных прикрас*“, тот же художник вспоминает о встрече с бывшим товарищем, попавшим в арестанты. Тот клялся, что „в нынешней арестантской роте гораздо легче живется, чем в прежнем кантонистском заведении“ (стр. 258). Многие сцены в этих очерках—сечение, уроки, игры, баня, прогулки по базару—невольно напоминают „Очерки бурсы“ и производят страшное впечатление.

Мягкосердечные и слабонервные люди упрекали Никитина в том, что его очерки нельзя читать, потому что они представляют ряд сцен сечения и моренья детей, но то, что записал этот претерпевший,—не художественное произведение и не игра ума, это—страшный обвинительный акт, строго, документально обоснованный и предъявленный проклятому прошлому. Бывший кантонист, печатая свои очерки, выполнил долг пред товарищами, с которыми шел сквозь строй человеческих истязаний, он *пополнил*, по собственному сознанию, „доселе остающийся в литературе пробел о том, что творилось с кантонистами в довольно близком к нам прошлом"

Очерки написаны через 14 лет после отмены нечеловеческого института кантонистов, после уничтожения этих „Мертвых домов", чрез которые с 1826 по 1857 г. прошло 7.905.000 мучеников, невинно убиенных.

Шаг за шагом раскрывает В. Н. Никитин жизнь кантонистов с того момента, когда ребенок становился „казенным" и попадал в науку к пьяным дядькам и ротным живодерам. В стенах казенной живодерни только и слышалось: „С шей до пят шкуру сдеру"... „До смерти запорю"... „Запорю на ноге"... „Всем по полсотне"... Заплечные мастера выработали целый ряд пыток: они драли щелчками по носу, кулаками по голове, плевали в лицо, иногда заставляли одного из кантонистов „харкнуть хорошенько" другому „в рожу".

Провинившихся ставили на горох, на битый кирпич, стоявшему на коленях давали сундук в руки и секли без конца—и просто, и „в пересыпку", и „на весу". Иные получали за десять побегов 4000 розог.

„Господи, пошли мне смерть!"—молился ребенок, и, по словам автора, „давилось, топилось и бегало очень много кантонистов" (стр. 219).

Детей калечили, а наиболее красивых дядьки развращали, делали их фаворитами, „масками" и заражали сифилисом.

Во время инспекторских смотров детей изувеченных, со всякого рода изъянами, прятали на чердаках, в конюшне; число таких укрываемых доходило всякий раз до 150—200 чел.

Изредка попадались среди воспитателей гуманные люди, но их выживали и сживали со света.

Попадались среди кантонистов протестанты, но их забивали или доводили до петли. Особенно тяжко жилось в этом аду кромешном кантонистам-евреям. На одном смотру протестант Мамаев, впоследствии каторжник, говорил инспектору: „Мы все обижаемся, зачем *приневоливают* еврейчиков креститься“, и он нарисовал картину этого приневоливанья, картину нравственных и физических истязаний, которую приходилось ему видеть всякий раз, когда пригоняли новые партии евреев, человек сто—двести.

Страшен рассказ еврея Бихмана о том, как его 11 лет схватили, стащили в острог, сковали с другим евреем и доставили с партией грязных, заеденных вшами в заведение, где стали их есть дядьки-взяточники и ротные живодеры. После пяти месяцев пути их насильно крестили и бросили на произвол судьбы.

„Кто теперь приласкает меня от души, кто приголубит? Мать, что ли, да жива ли она? Где она, да и приголубит ли она меня, крещеного? Ведь крестился, значит от родных отступился... Вот этаким путем во мне душа изныла. Житья нету. Я руки на себя наложу“,—так говорил юноша-еврей, удавившийся потом в клозете.

В рассказе того же автора „Век пережить—не поле перейти“—герой кантонист сохранил веру, но был искалечен, и, благодаря этой „счастливой“ случайности, получил отставку.

Калека спешит на родину, но не находит никого. Да и что у него общего с единоверцами.

„В пятнадцать слишком лет,—говорит бедняк,—я совершенно отвык от всех их порядков, я даже их наречия не понимаю. Разыскивать по белу свету было

больше нечего“. С нежностью мечтает он о смерти, которая успокоит его кости и прекратит многострадальную жизнь.

Хотя в этом рассказе была фабула и автор давал волю чувству, его очерки были неизмеримо сильнее и убедительнее... По прочтении его произведений долго стоят пред глазами еврейские рекруты-малолетки.

Дядьки вырвали их из нежных объятий матерей, напялили на них непомерно длинные казенные шинели, надвинули на их головы бездонные серые фуражки и гонят целыми стадами по слякоти в стужу...

Когда вы читаете бесконечную главу „Похождения Ерухима“, ворвавшуюся в „Записки еврея“ и затопившую их детской мукой несчастного кантониста, вы во многих местах не можете удержаться от слез. Когда ребенка отняли „ловцы“ от горячо любящей матери, отец утешал ее тем, что сын их „умер для семьи, умер для нации и умер для себя... это значило, нечего о нем думать, незачем плакать“ (соч., т. I, стр. 141).

Г. И. Богров, отца которого когда-то тоже преследовали „ловцы“, глубоко выстрадал эту главу, он недаром в страшную эпоху „пойманников“ много посвящал досужего времени писанию просьб тем из несчастных евреев, которые попадались в расставленные для них силки, многих удалось ему спасти (соч., т. III, стр. 42).

Это общение с потерпевшими доставило ему материал для рассказа „Пойманник“, в котором рассеяно много бытовых подробностей. Рядом с рассказом В. Н. Никитина в той же книге („Евр. Библ.“, т. IV) рассказ Г. И. Богрова с благополучной развязкой захватывает своим увлекательным сюжетом... Читая рассказ, вы невольно вспоминаете слова О. Рабиновича в рассказе „Штрафной“: это был явный *торг людьми*, которых продавали, все „кто хотел, кто мог и имел надобность“ (соч., т. I, стр. 61).

В рассказе Г. И. Богрова нет и тени кротости и всепрощения. Он гневно обличает „представителей

правосудия отживших печальных времен". Стремление кандидатов в „пойманники" и кантонисты бежать заключалась „не в характере еврея, а в жалких условиях его экономической, социальной и фанатической жизни" (соч., т. III, стр. 5).

Во всех этих изображениях рекрутчины уже заключался элемент апологии. В картинах прошлого— объяснение, почему евреи относились с таким ужасом к николаевской солдатчине и стремились от нее избавиться. *Это была борьба за национальное самосохранение.*

ГЛАВА VI.

ПРОЧЬ ИЗ ГЕТТО!

Ассимиляторы и обрусители. „Горячее время"— Л. О. Леванды.

Картины прошлого, рассказы о том, чем были евреи, и о том, что *было*, поглощали не все внимание художников. Они оглядывались назад, подводили итоги пережитому и, уверенные, что так было, но так не будет, окрылялись мечтой, рвались прочь из гетто и пели гимны новому времени, не помышляя, что оно скоро станет новым временем в ковычках.

Маскилы-„отцы" вели внутреннюю борьбу за свет, за истину, за знание, маскилы-„дети"—за право человека, гражданина, за право личности. „Отцы" действовали в союзе с реакционной властью, „дети"— вместе с русскими прогрессистами верили в либерализм правительства. Их тоже победил Галилеянин, и вместе с тем они мечтали действовать с прогрессивным русским обществом, исполненные горячей веры в светлое будущее. Эту веру укрепляли и общий подъем страны, и либеральное отношение к еврейскому вопросу.

Выступление Н. Пирогова и некоторых одесских профессоров в „Одесском Вестнике" в конце 50 годов, статья Н. Пирогова о посещении им одесской Талмуд-Торы, протест 140 литераторов и ученых против антисемитской выходки „Иллюстрации" Вл. Зотова (№№ 35, 42), оскорбившей публицистов-евреев Горвица и Чацкина обвинением в подкупности,—все это было симптоматично. Под протестом, напечатанным в „Русском Вестнике" (1858 г., т. 18, ноябрь, „Современн. Летопись"), подписались: И. Аксаков, К. Аксаков, П. Анненков, П. Афанасьев, К. Бестужев,

И. Беляев, О. Дмитриев, Д. Жемчужников, И. Забелин, М. Катков, Н. Кетчер, В. Корш, А. Краевский, В. Кокорев, Н. Костомаров, Н. Лукашевич, Л. Лонгинов, А. Майков, Г. Мельников (Печерский), А. Наумов, Н. Некрасов, Н. Павлов, М. Погодин, С. Рачинский, А. Станюкович, И. Тургенев, Д. Хомяков, Н. Чернышевский, С. Шевырев, Т. Шевченко, М. Щепкин, С. Усов.

Цвет русской интеллигенции протестовал во имя добрых нравов литературы.

К этому протесту в ближайшей же книге „Русск. Вестника“ присоединились представители южной группы: Кулиш, Марко Вовчок, Т. Г. Шевченко. Они говорили не только о добрых нравах, а касались и самого еврейского вопроса.

...„Много веков уже,—писали украинцы,—христианские нации, составляющие Российскую империю, клеймят скитающееся по всему миру еврейское племя именами злодеев, предателей, обманщиков, врагов божиих и человеческих. И не на словах только высказывалось негодование общества и правительства, которые не умели увлечь их человеческими средствами на путь истины и добра. Их изгоняли, топили, жгли и резали, как хищных зверей. Было бы неестественно этим жертвам слепого озлобления фанатиков оставить обычаи, за которые их ненавидели, и усвоить характер своих гонителей“. Объяснив судьбу русского еврейства, поскольку она была связана с историей Малороссии, современные представители южно-русской или украинской народности заявили, что они, „дыша *иным* духом и сочувствуя иным стремлениям, прикладывают свои руки к протесту „Русск. Вестника“.

Эти выступления несказанно обрадовали евреев-прогрессистов, разом уверовавших, что еврейский вопрос стал уже русским вопросом (см. С. Гинзбург. „Забытая эпоха“—„Восход“, 1896, кн. I, II, III, V, X, XI). Здесь перепечатан из „Русск. Вестн“. протест 140, но пропущен более ценный протест представителей южной группы.

Заговорили о *„слиянии“*.

Лозунг этот дан был самим Александром II, повелевшим 31 марта 1856 г. „пересмотреть существующие о евреях постановления для соглашения их с общими видами *слияния* сего народа с коренными жителями, поскольку нравственное состояние евреев может сие дозволить". В эпоху польского восстания (1863 г.) лозунг слияния стал лозунгом *обрусения.*

В романе Л. О. Леванды „Горячее время" Мэри Тидман изучает русскую литературу и пробует писать любимому человеку—горячему обрусителю уже не по-немецки, а по-русски. В том же романе дочь „берлинера" Софья Аронсон в 1863 г. решает, кто же она: еврейка, полька или русская? „Живем мы совсем не на немецкой земле, все нас окружающее—не имеет ничего общего с немецким... Я всегда удивлялась тем образованным немецким семьям, которые всю свою домашнюю жизнь поставили на немецкую ногу... Винить их, конечно, нельзя: этому, вероятно, были причины, и может быть, очень важные, законные, но их положение тем не менее фальшиво и подчас даже комично".

Важные причины эпохи великих реформ оттеснили на задний план „отцов"—деятелей местечка „берлинеров" и выдвинули на первый план дипломированную интеллигенцию, апостолов слияния и обрусения. В период „берлинерства" Вильна была очагом борьбы, и орудием просвещения являлись *немецкая и древне-еврейская* литературы. Теперь очагом ассимиляторского движения становится столица Новороссийского края—Одесса, позднее Петербург, и орудием борьбы—*русская и русско-еврейская литературы.* Евреи интеллигенты (и купцы) стремились в этот оживленный и торговый город. И не даром же герои О. Рабиновича, влюбленного в Одессу, избирают ее центром своей деятельности („Мориц Сефарди", „Калейдоскоп", „История о том, как Хаим Фейгис путешествовал из Кишинева в Одессу").

Там уже в 50-х годах образовался широкий круг еврейской интеллигенции, усвоившей русскую культуру. По данным всероссийской переписи 1897 г., не

даром $^1/_3$ евреев, признавших русский язык родным, жила в Одессе. Там же возник кружок профессоров, группировавшийся вокруг Пирогова, попечителя учебного округа, и этот кружок был близок к прогрессивной еврейской интеллигенции.

В докладной записке, поданной в 1858 г. в Одессе Н. И. Пирогову О. Рабиновичем и И. Тарнополем об издании на русском языке еженедельной газеты, говорилось: „Мы любим русский язык, как любим наше русское отечество, обоим желаем служить, считая себя в силах на этот подвиг. Отечество увидит поближе $1^1/_2$ миллиона сынов своих".

О том же повторял И. Тарнополь в своей книге „Опыт современной и осмотрительной реформы в области юдаизма в России", в главе, трактующей о „важности направления и пользе издания еврейского периодического журнала на русском языке". Цель своего сочинения автор видел в „сближении евреев и русских" (стр. 83).

О. Рабинович в передовой статье от 22 июля 1860 г. приветствует „конечное сближение двух станов, долго глядевших неприязненно и недоверчиво друг на друга". „Итак,—пишет он,—*дело сближения—факт решенный*, хотя еще не совершившийся у нас" (соч., т. III, стр. 135).

В романе „Калейдоскоп" О. Рабинович также выводит вереницу русских и еврейских типов, при чем рисует зарождение горячей дружбы между русскими и евреями по мере того, как они узнают друг друга. *Но О. Рабинович служил делу сближения, как апологет и обличитель*. „Пора нам,—писал художник и редактор,—умыться и приодеться. Это откровенное признание в неприличии нашего костюма ничуть не уменьшает наших человеческих прав и тех наследственных достоинств, которых отнять невозможно" (соч., т. III, стр. 126). Он стремился искоренить предубеждения „с той и другой стороны", он воздействовал на *добрую* волю читателей. *Л. О. Леванда не только обличитель, он—апостол слияния.* О. Рабинович—пропагандист, Л. О. Леванда—агитатор.

Пред евреем, всю жизнь проведшим в Западном

крае, польское восстание поставило вопрос: польская или русская ориентация? Решив этот вопрос в пользу русской ориентации, Л. О. Леванда пишет не просто роман „Горячее время“, а дает категорический ответ, директиву молодежи. Этот роман—пограничный столб в истории еврейской общественности, и главное в нем не сюжет, не типы, а идеи, с энтузиазмом защищаемые автором. Главный герой — это рупор, чрез который кричит художник с капитанского мостика. Сердце автора бьется в каждой горячей тираде Сарина, как билось сердце Грибоедова в пылких монологах Чацкого.

Роман построен примитивно, по старинке, ведется в дневниках, письмах. И письма, и дневники, и речи— все говорит, что душа *автора* горит, и время переживается горячее.

Уже в письме от 2 сентября 1861 г. Аркадий Сарин развертывает вполне определенную программу действий пред своим приятелем Мозырским:

„Все вокруг нас зашевелилось, засуетилось, зашумело... по всему пространству России идет теперь генеральная ломка сверху и снизу. Ломка старых идей, заматерелых принципов, закаменелых учреждений и въевшихся в плоть обычаев. Шум, треск и грохот; все спешит обновляться, очищаться; все стремится вперед навстречу чему-то новому, небывалому, почти неожиданному. Даже наши единоверцы—и те поднялись на ноги и готовы итти... Они только не знают еще— куда. Доходят ли до вас умиленные звуки трубы с юга [1])?

„Неужели последние 5 лет пронеслись над вашими головами бесследно?“ „Но знайте, что приближается время, *горячее время*, в которое ваши виноградники окажутся не совсем надежной опорой покоящимся под их тенью. Приближается время, которое с ножом к горлу будет приставать к вам, требуя категорического ответа на вопрос: кто вы, что вы? За кого вы? С кем вы? В польском лагере затевается что-то серьезное, кровью пахнет... Поляки стали нас обню-

---

[1]) Намек на одесский орган „Рассвет“, где выступал тогда Л. О. Леванда со своими корреспонденциями. *В. Л.-Р.*

хивать, ухаживать за нами, авось, не удастся ли соблазнить нас, благо нам не особенно вольготно под русским законом. Они в нас чуют враждебный Москве элемент, а потому мы им и на руку. Ведь двухмиллионное население с известным экономическим положением, в самом деле, не шутка... Итак, подумали ли вы уже, куда нам итти: *направо* или *налево*? Не забывайте, что от этого решения зависит будущность всего нашего племени, стало быть, стоит, чтобы поломать над этим решением голову. Мы здесь подумали и решились — *итти направо, пристать к Москве.* Туда влечет нас инстинкт, соображение и, наконец, чувство благодарности. Мы никогда не должны забывать, что *варварская Россия, а не цивилизованная Польша, впервые стала заботиться о нашем образовании и воспитании. Пробуждением у нас самосознания мы обязаны России, а не Польше*... С Россией нам, может быть, более посчастливится. Получив от нее ключ к образованию, мы этим ключом, даст бог, отопрем для себя русскую народность, русскую гражданственность, русское отечество. Правда, и в России не больно нас жалуют, но сердце мне подсказывает, что со временем русские нас полюбят. Мы их *заставим* полюбить нас. Чем? — Любовью же". („Евр. Библ.", т. I, стр. 53—55").

Исполненный решимости итти направо с Москвою, Аркадий Сарин немедленно же принимается за работу, за вербовку единомышленников, за организацию кружков и за агитацию. Оставляя свой город для другого, Сарин завещает Мэри Тидман продолжать его дело, толкая евреев на путь „к *русскому* гражданству".

Короче, программа наша,—говорит он,—состоит в том, чтобы *сделать евреев русскими.*

Проходит два года. Измученный преследованиями русской администрации, закрывшей русскую читальню и субботние школы, устроенные им, Сариным, он говорит русскому офицеру Дубнову, который бредит обрусением евреев. „Мы будем просвещаться на зло всем реакционерам и обскурантам. А потом будем учить вас быть гражданами, патриотами, любить Россию, как следует, а не на словах только".

Приглашенный главой губернии для объяснений, Сарин с горячностью Чацкого высказывает Фамусову всю правду. Ему разъясняют, что в России нет граждан, что вести агитацию даже в пользу России—преступление, за него отправляют в тюрьму. Но и там он тот же и мечтает о том же: „Мы будем русскими, но для нас ведь навсегда останутся чужими русская лень, русская беззаботность, забубенность, бесстрашие и то, что называется русскою широкою натурою" (т. III—68).

Польское восстание подавлено, апостол обрусения встречается за границей с польскими патриотами-эмигрантами, он, ассимилятор, любит польку, но его принципы также „верны и тверды", он уверен, что не ошибается. Когда до него в Женеву доходят вести, что обрусение евреев возводится правительством в принцип, он в восторге. Он пишет в июне 1864 г. письмо к другу: „Хочу в Россию, не может быть, чтобы правительство не нуждалось в нас, в топографах и пионерах, расчистивших почву, на которой оно хочет действовать" (III—86).

В этой слепой вере был зародыш трагедии. Этого Чацкого тоже ждал „милльон терзаний".

У идеи слияния была своя юность, розовая и мечтательная, эту юность пережил в своем романе Л. О. Леванда, для которого просвещение было связано с обрусением и завоевание гражданских прав с пробуждением личности.

Роман заканчивается 1864 г., точно обрывается: на смену горячему времени уже шло иное время.

После польского восстания, после знаменитого пожара в Апраксином рынке, после закрытия „Современника" за „зажигательные" статьи, после ареста виднейших руководителей радикальной молодежи—вполне определился новый курс русского правительства. В интеллигентских слоях шла дифференциация.

По мере того, как еврейская интеллигенция в эпоху 1860 и 1870 г.г. сближалась с лучшей частью русской интеллигенции, проникалась идеями русской журналистики и беллетристики, все более и более обна-

руживалось крушение патриархальной семьи, обострялась борьба отцов и детей и шла своя дифференциация.

Проснувшаяся личность уже не мирилась с деспотической властью. Борьба между старым и новым напоминала то, что описывалось в русских романах.

Ан-ский („Пионеры"), С. О. Ярошевский („Выходцы из Межеполя"), Л. О. Леванда („Горячее время"), Г. И. Богров („Записки еврея") дали богатый материал для характеристики борьбы внутри семей. Новые веяния вели к победе „детей". „Дети" заключали фиктивные браки, уходили из дома, это был разрыв со старым бытом и укладом, это был бунт „мыслящей" личности. Были семьи, где кипела борьба между „отцами"-берлинерами и „детьми"-ассимиляторами.

Среди ассимилированных и ассимиляторов были разные типы, начиная от агитаторов-ассимиляторов Сариных и кончая ассимилированными обывателями и приспособившимися „приобретателями" и теми, которые, по словам О. Рабиновича, „приходили в прямое соприкосновение с начальством".

Г. И. Богров в своих „Записках еврея" изобразил „просвещенных акцизников", начиная с хлыщеватого, пустого, похожего на павлина ассимилированного конторщика Кондрата Борисовича и кончая культурным Рановым, который был „относительно силен в русской словесности". В его кружке читали „все, что появлялось разумного, дельного в отечественной литературе. Здесь играл видную роль русский богослов—друг Ранова,—весьма развитой, богатый основательными познаниями, рьяный утопист и миропреобразователь".

В 70-х г.г. обнаружилось, что между энтузиастом ассимиляции Сариным и ассимилированной, индифферентной молодежью—дистанция огромного размера.

Уже в 1873 г. в IV т. „Еврейской библиотеки" была напечатана критическая статья А. Г. Ковнера—„Современная еврейская беллетристика", в которой он нападал на прогрессивных писателей-просветителей, выставлявших все старое поколение сплошь какими-то извергами, идиотами, фанатиками, не имеющими

хороших сторон, а новое—прекрасным, идеальным, трудоспособным, трудолюбивым, без всяких недостатков.

„Юное и прогрессивное поколение,—говорил он,—имеет все недостатки нашего практического века: *материальное обеспечение, крайний эгоизм, наслаждение настоящим, равнодушие к будущему, отсутствие общественного инстинкта, тщеславие и самомнение*,—вот самые главные двигатели в жизни молодого поколения, успевшего вкусить от европейской образованности. Мы не говорим уже о том, что оно чуждо еврейской национальности, не имеет ничего общего с народом, страдающим столько столетий ради своей национальной идеи, но, оторванное от еврейской почвы, оно не успело примкнуть к общечеловеческим идеалам и поэтому живет только своей, индивидуальной жизнью" (стр. 269).

Ковнер подчеркивал, что таков *общий тип* еврейских прогрессистов, с чертами, которые „далеко не так привлекательны". Прогрессистам он противопоставлял лучшую часть еврейского молодого поколения, которого не знают прогрессивные еврейские писатели. Критик-писаревец разумеет, конечно, „мыслящих реалистов". В характеристике прогрессивного молодого поколения были подмечены типичные черты буржуазных слоев и цензовой интеллигенции 60—70-х годов.

Классовый интерес властно толкал представителей крупной буржуазии и дипломированных интеллигентов в сторону полной ассимиляции. Представители угнетенной нации стремились раствориться в недрах чужой, господствующей нации, стремились прежде всего оттого, что чужая нация широко открывала им двери для промышленной и культурной деятельности, открывала поле для эксплуатации только при условии приспособления к ее культуре. Это было растворение в буржуазной среде господствующей нации.

Но наряду с буржуазными прогрессистами, пропитанными индивидуализмом и рассудочностью, в начале 70-х г.г. наметился и еще тип представителей молодежи атеистической, революционной, социали-

стической, развившейся под влиянием русских семинаристов и студентов, выросшей на Чернышевском и Миртове-Лаврове.

В виленском раввинском училище в 1872 г. был основан будущим революционером А. И. Зунделевичем кружок. Этот видный представитель революционной мысли среди еврейской передовой молодежи в своем письме к Б. Фрумкину [1]) пишет о своем кружке: „Нам казалось, что у евреев нет общих интересов национальных, а есть множество одинаковых интересов *людей*, составляющих еврейство, интересов, заключающихся в приобретении равноправия, открывании дороги к европейскому образованию и в работе *со всеми другими людьми, составляющими население России*, работе, направленной к изменению общественного порядка в сторону *общечеловеческих идеалов*, добра и справедливости“.

Группа евреев-романтиков, общечеловеков-социалистов, примыкала к общечеловеческим идеалам. Социалист Винчевский говорит о себе и своих друзьях: „Мы были народники, и мужики были наши родные братья“.

Это были уже не Сарины, готовые помогать власти, а самоотверженные мечтатели - идеалисты, непримиримые враги официальной, старой России. „Хождение в народ“ означало для них уход из еврейства.

Все эти типы при свете нового периода и новой точки зрения нашли выражение и оценку у С. Ярошевского, Г. Баданеса, С. А. Ан-ского и даже у Л. О. Леванды в его публицистике и в его повести „Авраам Иозефович“,—повести, хотя и исторической, но явно написанной на современную тему об уходе.

Этот новый период намечался уже давно, его уже предчувствовал критик Ковнер... Но ярко и бурно, стихийно и катастрофически он обозначился после погромов 1881 г., когда идеалы ассимиляторов-обрусителей потерпели крах, когда раздался властный призыв: „домой“, когда в центре внимания стали националистически настроенные мелкобуржуазные слои.

---

[1]) „Еврейская Старина“. К истории револ. движ. среди евреев в 1870 г.г., вып. II, 1911 г., стр. 221—222.

ГЛАВА VII

СМУТНОЕ ВРЕМЯ.

Блудный сын возвращается „домой“. „Отщепенцы“—Германа Баданеса. „Выходцы из Межеполя“—Ярошевского.

В 80-е годы на смену *горячему* времени пришло смутное время. По образному выражению Л. О. Леванды, „между евреями и русскими пробежала черная кошка“.

Еще в эпоху русско-турецкой войны (1877—1878 г.г.) вместе с ростом славянофильских симпатий замечалось ухудшение отношений к евреям. Прикосновенность некоторой части еврейской молодежи к революционному движению 70-х г.г. дало повод реакционной печати обвинять евреев в космополитизме и революционности, в том, что еврейская молодежь оказывает тлетворное влияние на русскую интеллигенцию.

Суворин доказывал, что евреи заправляют движением, что в политических процессах их 7%, тогда как процентное отношение их ко всему населению—3%, что евреи поджигают общество с двух концов: со стороны капитализма и со стороны социализма.

В 1880 г. в „Новом Времени“ появилось письмо Суворина под заглавием „Жид идет“. Это был определенный лозунг, больше того—заглавие целой эпохи.

Автор письма обращает внимание читателей, вернее, правительства, на увлечение евреев общим образованием: в 1876 г. евреи составляли 9,9% всех гимназистов империи, а в 1877 г.—10,7%. Он предсказывал, что пройдет „какой-нибудь десяток лет, и мы увидим, что в некоторых местах России евреи будут господствовать не только в практических, но даже в либеральных профессиях“.

Эта статья глубоко взволновала еврейских писателей, не без основания увидевших в ней знамение времени. Норд-Вест (Минский) в „Рассвете“ в ответ на письмо Суворина напечатал „Открытое письмо“ Незнакомцу и статью „Сумбур идет“, опровергая и цифры и выводы недавнего либерала. В „Рассвете“ же был напечатан роман-памфлет Гершон-бен-Гершона под заглавием „Жид идет“. Пароль и лозунг Суворина был подхвачен юдофобскими лидерами провинциальной прессы—„Киевлянином“ и „Новороссийским Телеграфом“.

В 1881 г., через 1½ месяца после 1 марта, происходит знаменитый погром 15 апреля в Елизаветграде, напоминающий по силе впечатления кишеневский апрельский погром 1903 г.

В течение года происходят погромы в 150 городах и местечках. Особенно страшен был Балтский погром 29 марта 1882 г., превзошедший все предыдущие зверствами черни. Было разрушено 1250 домов и магазинов, имущество разгромлено и уничтожено, 1500 человек было пущено по миру, убито и тяжело ранено 40 евреев, легко ранено 170, многие, особенно женщины, сошли с ума, более 20 женщин было изнасиловано. Все эти средневековые ужасы возмутили европейское общественное мнение. Начались митинги протеста в Англии и Америке. Правительство, озлобленное и растерянное, писало в „Правительственном Вестнике“ определенные статьи, в которых доказывало, что меры против погромов „не были слабы“ и в доказательство[1] ссылалось на то, что полиция арестовала во время погромов или „беспорядков“ на юге 3675 чел., а в Варшаве 3151 чел. После Балты пошатнулась система правительственного снисхождения к погромам.

Откуда пришел этот вихрь злобы и бешенства?

Некоторые видели самую тесную зависимость между событием 1 марта и погромами. На эту зависимость указывал английский публицист Диллон в статье, посвященной Александру III. Правда, наша юдофобская

---

[1]) См. „Еврейская Старина“, 1916 г., вып. I, стр. 74. С. Дубнов.

пресса старалась раздуть, что среди террористов была еврейка Геся Гельфман, та же пресса лживо уверяла, что у Гриневецкого—террориста, бросившего бомбу и убитого ею, был „восточный нос“. Этот „восточный нос“ стал излюбленным аргументом нововременцев при решении вопроса „бить или не бить“. Но резкий поворот в отношении к евреям был связан не столько с 1 марта, сколько со всею совокупностью реакционных течений, получивших господство в русской жизни в царствование Александра III, отличавшегося особенною нетерпимостью.

С одной стороны, формула Александра III „Россия—для русских“, а с другой стороны, историческая фраза министра внутренних дел Игнатьева доктору Оршанскому: „Западная граница открыта для евреев“—определили *национальный курс* правительства.

В выпуске III—IV „Еврейской Старины“ за 1915 г., в ценной заметке С. Дубнова,—талантливого историка и публициста,—в заметке, посвященной истории 80-х годов и, в частности, 1881 году [1]), говорилось о „пожаре новой гайдамачины“: „юдофобская реакция чувствовалась в политической атмосфере с самого начала нового царствования. Чем-то зловещим веяло с вершин бюрократии, тревожные слухи доносились из петербургских высших кругов. Говорили о внимании, оказанном здесь Лютостанскому, выступавшему в конце 70-х годов с безграмотными памфлетами о ритуальных убийствах и зловредности Талмуда. Вспомнили, что осенью 1880 г. этот авантюрист, уличенный в „недобросовестности“ в одном судебном процессе предъявил суду какую-то „благодарность“, полученную им за поднесение своего сочинения“ (стр. 268). Как и другой историк—Ю. Гессен, историк С. Дубнов категорически удостоверяет, что погромы почти одновременно вспыхнули во многих местах, совершались по шаблону и „были тщательно подготовлены и организованы“ (стр. 270). Экономическое разорение русского народа заставляло правительство искать виноватого

1) „Из истории 80-х годов“ (1881 г.).

и валить с больной головы на здоровую. За погромами последовали репрессии будто бы в интересах русского народа. Администраторы заговорили о еврейской эксплуатации и о ненависти народа.

Когда в Киеве, в военно-окружном суде, один из свидетелей заговорил о черте оседлости и о скученности евреев, известный реакционер, прокурор Стрельников, старавшийся защитить участников погрома 18 мая, изволил заметить: „Если для евреев закрыты восточные границы, то ведь для них открыты западные, почему же они ими не пользуются". Прокурор ошибся: когда началась истинно-русская политика Александра III, когда вслед за погромами майский закон 1882 г. установил черту в черте, когда целый народ был признан лишним и лишенным прав, когда появился знаменитый циркуляр о процентной норме в учебных заведениях, евреи широко воспользовались открытой для них западной границей. За короткое время в одном только Нью-Иорке сосредоточилось несколько сот тысяч русских евреев. Это была эмиграция, похожая на бегство от ограничений, репрессий, погромов, „небывалый еще в летописях русского еврейства исход из России" [1]). Те, которые еще недавно вместе с Л. О. Левандой „мчались на всех парах к слиянию", *„одержимы теперь паникой"* и в ужасе устремляются в Америку или Палестину - вместе с бегущим туда народом, разоренными ремесленниками и торговцами.

В эту мрачную годину гонений и скорби прогрессивное русское общество оказало евреям весьма слабую поддержку. Нельзя не отметить выступления беллетриста И. Мордовцева, напечатавшего в № 19 „Рассвета" (1882) замечательное „Письмо христианина по еврейскому вопросу".

Русский писатель горячо говорил о чувстве стыда и вины, переживаемых им в годы всероссийского позора, потому что он „вместе со всем русским обществом как бы участвовал в том безбожном деле".

Он называл еврейский вопрос „проклятейшим из

---

[1]) С. В. Познер „Евреи в общей школе" (стр. 55).

проклятых“ и писал о священнейшей обязанности не только русского общества, но и всего цивилизованного мира „сделать навсегда невозможным повторение этого постыдного дела, которое разыгралось на наших глазах“.

С негодованием говорил беллетрист-историк „о современных Гонтах и Железняках, о тех невидимых, хотя всем известных вожаках, которые управляют движением одичалых масс... из-за типографских станков, им самим принадлежащих, из редакций, роскошно обставленных, из-за передовых статей, бьющих на розничную продажу“.

Вспоминая о героях уманской резни, колиивщины и Гайдамачины, он приходит к выводу, что „те Гонты и Железняки по сравнению с *этими* были чистейшими и невиннейшими младенцами“.

Д. Мордовцев советовал евреям искать убежища в Америке, в Палестине на случай будущих невзгод: тогда, видя энергию евреев, и сам закон пойдет им навстречу „и евреев перестанут считать нелегальными нелюдьми“.

Это был наивный совет, говоривший о полной растерянности автора. Но главное заключалось не в этом совете, а в праведном гневе писателя и братском сочувствии.

Таких дружеских горячих выступлений было немного, и одинокие голоса Мордовцева, Салтыкова-Щедрина, Владимира Соловьева, Шелгунова только подчеркивали весь ужас средневековой трагедии.

Растерявшаяся еврейская интеллигенция проникается глубоким и мрачным пессимизмом по отношению к недавним мечтам обрусителей—Сариных. Просвещенец-ассимилятор с его лозунгом „прочь из гетто“ уступает дорогу национальному самобытнику с его истерическим воплем „домой“, поборников *гражданской* эмансипации заменяют апостолы „*само*-эмансипации“.

Те, которые ушли от родного народа, переживают муку раздвоенности, блудный сын возвращается, не видя просвета и не зная исхода.

Еврейский историк С. М. Дубнов называет эти

беспросветные годы *„Смутным временем“*. Произведения этого периода, и сатирические и лирические, проникнуты безотрадным чувством. В 1882 г. в недельной хронике „Восхода“ — журнала, ставшего „летописью еврейских бед и злоключений“,—редактор и публицист А. Е. Ландау жаловался читателю, что „ни одного отрадного явления, ни одного хоть сколько-нибудь успокоительного известия не приходится сообщать,— один плач и стон кругом“. Еще недавно восторженный ассимилятор П. О. Леванда впал в беспросветный пессимизм и заговорил о „миллионе терзаний“ еврейской интеллигенции.

В это время и вся страна переживает сумерки и видит всюду хмурых людей в эту эпоху бездорожья и безвременья, безысходности и безверия. Н. К. Михайловский в это время писал о поле, усеянном мертвыми костями, и о сплошном заворачивании фронта.

Еврейские писатели с удвоенной силой переживали муку безысходности. Их объединяет общее жгучее горе и *общее отрицательное отношение к ассимиляторам*.

Когда С. А. Ан-ского спрашивает заграничный еврей, сын которого крестился, о чем он пишет и что доказывает, художник-историк еврейской общественности отвечает: „Трудно сказать в двух словах. В общем указываю, что *надо оставаться евреем*“ (т. I, стр. 100).

Эти слова могли бы послужить эпиграфом ко всем произведениям этого периода.

Если раньше русские граждане Моисеева закона готовы были идеализировать каждого русского, даже исправника, то теперь очень скептически относятся даже к прогрессисту, даже к „отщепенцу“. Вместе с тем обнаруживается все растущая *оппозиционность* в той части интеллигенции еврейской, которая в предшествующую эпоху завоевала себе видное положение в сфере либеральных профессий в крупных центрах, завоевала, благодаря правительственной опеке и привилегиям. „Восход“ все резче осуждает систему ходатайств пред властями.

Борьба против ассимилянтов отразилась в ряде очерков и романов. В „Записках отщепенца“ Гершона

Баданеса [1]) вы чувствуете, что автор не бросает слов на ветер, говоря: „Теперь наступило и *новое* время— *желчь накопилась*“.

Желчью написана его история городка Подвздошина.

Городок Подвздошин, такой же символический, как „Город Глупов“, пережил три эпохи, которые подробно и метко характеризует сатирик. „Хаос родил акцизника и крымского деятеля, крымский деятель родил „шмендефендрика“ (железнодорожника), шмендефендрик родил отщепенца“. Историю этого отщепенца и рассказывает автор.

Еврей-отщепенец потерял доверие к дому и семье и стал критически относиться ко всему окружающему под влиянием русского отщепенца.

„Встретились мы с русской жизнью,—рассказывает еврей отщепенец,—потому что нашу местность стали обрусевать, и у нас появились целыми тучами москали. Тут был весь букет из великорусской оранжереи: и капитан Буянов, и квартальный Держиморда, и городничий Хабаровкин, и помещик Раскошеляев, и купец Абдулин. Всякие были, и мы бы, быть-может, не так скоро разобрались во всем этом букете, если бы со всеми остальными не пришел и разночинец Скоропостижный, который нам быстро и вразумительно отрекомендовал своих соотечественников. Разночинец кругом грешен был, и его даже к нам с опаской и с призором отпускали. Но он знал секрет войти в душу человека, открыть и всадить туда частицу своей собственной. Он вошел и в нашу“...

Этот разночинец-отщепенец вывел евреев отщепенцев из грязных душных хедеров на чистый воздух полей, их отвлеченные мысли заменил реальными и вещественными.

„Мы сделались истыми русскими, страдали болями их и обратили все свои способности и страсти на служение им. Мы прошли вместе с ними все знаменательные моменты последнего времени“... „И вдруг мы узнаем, что по отношению к еврейскому вопросу

---

1) „Восход“, 1884 г., март, май, июнь.

и Сквозник-Дмухановский, и генерал Дыба, и Коробочка, и полтавский землевладелец Раскошеляев, и либеральный газетчик Сладкопевцев, и даже государственный юноша Скоропостижный (и ты, Брут!)—все в один голос только спрягать умеют: жги, жарь, терзай. Это что же за метаморфоза?... Так для того ли мы, отщепенцы, огород городили, свое тело по-рахметовски огню и железу предавали, чтобы нам же по шее дали, чтобы нам они же говорили: коленом в это место, и марш! Да ведь это мор зверей".

Все эти злоключения отщепенца-еврея заставили его *„вернуться к родной подоплеке"*.

В желчных, шаржированных очерках автор рисовал попутно и нацию „с большим духом и маленькой душой, с титаническим размахом руки и шагом пигмея". Он намечал у русских черты примитивного народа, этот народ переживает пока переходное состояние, ему предстоит великая история, но сейчас он никакой истории, собственно говоря, не имеет, вместо же истории у него... одна география. К этому народу на беду потянуло отщепенцев—сынов еврейского народа, которому истории „не занимать стать, но у которого „географии нет".

С. Ярошевский тоже написал историю Подвздошина („Выходцы из Межеполя"), только под другим названием, в других тонах и в другом стиле—неловком и расплывчатом...

В романе „Выходцы из Межеполя" он бегло и поверхностно, а порой, по цензурным соображениям, весьма неясно намечал типы просветителей-идеалистов, ассимиляторов-общественников (Иосиф и его фиктивная жена), беспощадных отрицателей-отщепенцев. Как и всегда, еврей-интеллигент подпал под влияние русского отрицателя.

Прежде бабушки являлись воплощением темных сторон, символом отжившего мира,—у С. Ярошевского бабушка Бина—светлый образ, она — хранительница заветов и поэзии прошлого. Любовно написанная бабушка Бина—душа Межеполя с его скорбью и радостью, с его кладбищем и синагогой.

У Баданеса *„отщепенцы“* из Подвздошина, у С. Ярошевского—*„выходцы“* из Межеполя, не сумевшие провести нить от старого к новому.

У героев С. Ярошевского разные цели и разные методы действий.

Молодые учителя раввинского казенного училища Вигель и Ригель воспитаны, как „берлинеры“, „на образцах немецкой литературы и философии с примесью еврейской теологии и этики“. Они оба „идеалисты с ног до головы“. Девиз Ригеля: *„все* в образовании, нет ничего вне его“ (стр. 282). Эту идею проводит он в газете „Надежда“, издаваемой исключительно для евреев. В этой „еретической“ газете он осмеивает дурные привычки и пороки населения и указывает новые пути к исправлению. Его путь очень длинный, это путь постепенных преобразований и вечных компромиссов. Ригель не ищет мятежных сил, чтобы опереться на них, он верит, что идеи сблизят разнородные элементы. Он считает себя межепольцем и хочет „возделывать бедную ниву, завещанную ему предками“ (стр. 383).

Ученик Ригеля Иосиф, сын коммерсанта, покинувшего Межеполь для торговых дел, рвет с домом отца-дельца и уходит от своего учителя-идеалиста. Юного петербургского студента тянет к русскому отрицателю Делевскому, который учит, что старый мир никуда не годится и должен быть обновлен. В новом мире не будет ни богатых, ни бедных, ни господ, ни рабов, национальности исчезнут, останется всечеловек, который будет жить во имя одной правды. Иосиф, всегда тяготившийся в гимназии отчужденностью и национальной рознью, всем сердцем откликается на проповедь Делевского.

Фиктивная жена Иосифа Анна также проникается идеями Делевского, подчиняется ему и, любя Иосифа, любя родную среду, уходит за русским революционером и погибает вместе с ним. Она также порвала с „отцами“ и, чтобы облегчить разрыв, вступила в фиктивный брак с Иосифом.

Иосиф, мягкий и нежный, еще не определился окончательно. Этот „выходец“ из Межеполя пока не на-

шел своего места в жизни. Но если Ригель хочет возделывать для счастья межепольцев *ниву своих предков*, то всечеловек Иосиф хочет работать на *ниве человечества* для общего блага (стр. 384). Он чувствует себя сыном „своего отечества“ и свою жизнь мечтает отдать стране, с которой сроднился душой.

События 1881 года заставляют его переоценить ценности. Этот человек случайно попадает в тюрьму по смерти отравившейся во время обыска Анны, а по выходе из тюрьмы женится на христианке и отходит еще дальше от своих. И вот, этому выходцу и отщепенцу приходится пережить все ужасы погрома; благодаря целому ряду случайностей, явно нагроможденных автором, на глазах Иосифа убивают его мать, насилуют сестру. Его жена случайно попадает в толпу громящих христиан, от ужаса сходит с ума и вскоре умирает.

Иосиф потрясен, но не озлоблен. Он задумывается над причинами, приходит к выводу, что евреям следует „или распасться и слиться раз навсегда с окружающими, *или отказаться от неопределенной и гибельной роли народа без народа* и превратиться в настоящий народ“.

Иосифу улыбается второй путь. Он намерен всецело отдаться делу своего народа, для него он будет борьбой добиваться „жизни, бьющей полным ключом“, и он уже не будет всечеловеком, он будет сыном своего народа.

Идеалист Ригель уезжает за границу — подальше от страшной действительности, а потом возвращается присмиревший и разбитый.

Критика и оценка прошлого в этом романе, сшитом наскоро белыми нитками, были очень поверхностны. Главным и решающим аргументом явился погром. Изложение новых идей и новых выводов Иосифа было сделано очень обще и неопределенно. Но роман явился показателем новых настроений, он ликвидировал наследие недавней эпохи и призывал „к *родной* подоплеке“, „домой“, к еврейскому народу. В этом призыве не было бодрости.

ГЛАВА VIII.

БЕСКРЫЛАЯ ПОЭЗИЯ.

Минский.—С. Я. Надсон.—М. Абрамович.

В годы сгущенной тоски и мрачной безысходности выступают поэты-лирики: М. Абрамович—субъективный поэт, анализирующий собственную душу; Минский-Виленкин, рассудочный поэт, пытающийся себе уяснить и самого себя, и душу своего народа, и свое отношение к нему; С. Я. Надсон, в жилах которого текла кровь народа „с удрученной душой"; С. Г. Фруг, националист, проникающийся исторической романтикой.

У всех у них любимые слова: грусть, тоска, скорбь, уныние, бессилие, безысходность, разлад, и только у Фруга порой на один миг загорается возмущение. Все они пришли к еврейскому народу в тяжкую годину, пришли к народу, обиженному судьбою, пришли в те дни, „когда одно название *еврей* звучит, как символ отверженья". В прекрасном стихотвореньи „Я рос тебе *чужим*, отверженный народ", сын еврея-музыканта С. Я. Надсон писал: „Твоих преданий мир, твоих печалей гнет мне чужд, как и твои ученья", и все-таки народ согбенный и под „бременем скорбей" привлек вниманье и вдохновенье поэта и заразил своей скорбью даже ассимилированных певцов.

В годы усиленных гонений ассимилировавшийся еврей переживал с особенной болью трагедию раздвоенности. Об этой трагедии рассказывал в своем сборнике „Стихотворение" (1889 г.) молодой поэт М. Абрамович. Его стихи это—лирика надлома и надрыва, утомляющая однообразием. Поэта мучит „тоска зловещая, как выходцев гробов", „бесцельная тоска" и „безысходность". Очень немногие песни, посвященные любви, весне и природе проникаются иными настроениями только на момент.

Автор и сам чувствует, что в аккорде чувств его „дрожат больные ноты“, что „унылый тон звучит в аккорде песни каждой“ (стр. 32), он называет себя тяжело больным. Его демон все скитался по *распутьям* одиноко. Он не видит выхода и не знает исхода: „Все в прошлом сердцу ясно, даль грядущего темна“.

Порой лиризм поэта достигает большой силы в тот момент, когда он остро чувствует и горячую любовь к родине-мачехе, и мучительную боль за родной народ. Привожу одно из его стихотворений полностью:

Исхода нет! Сражен, поруган
Мой падший бог-отец—народ;
Отчизну-мать зову испуган,
Но сына мать не признает.
Опять вражда, опять раздоры...
А я? Я стражду и молчу.
Кому дерзну кидать укоры?
Кого в объятья заключу?
И вновь разлад и тьма, как прежде,
В моей измученной груди...
Исполнен смуты и тревоги,
За вас терзаясь и скорбя,
Отчизна, я ль судья твой строгий?
Народ мой, мне ль винить тебя?

О, где предел моих страданий?
Мир осенит ли мой народ,
Чтоб мог я вновь без колебаний
Стремиться к родине вперед?
В моих мечтах, моих молитвах
Ее без страха призывать,
Быть ею мощным в грозных битвах,
В ее венец свой лавр вплетать.

Иль без следа растратить силы
Мне суждено судьбиной злой,
На перепутьи до могилы
Стоять с раздвоенной душой?

Исхода нет! Сражен, поруган,
Мой падший Бог без сил лежит;
Отчизну-мать зову испуган,
Она грозна... Она молчит... (стр. 227.)

В стихотворении „Из песен дня“ поэт рассказывает о своих российских собратьях, которые посматривают на него с усмешкой, когда он, „томимый зло-

бой дня кидается в объятия гонимых, а потом отчизну вновь поет", ту отчизну, которую любит „без греха, *без укоризны*" и о которой говорит: „в тебе умру, в тебе родился". Но чувство братской солидарности влечет его к гонимому народу: „Пока еврей гоним судьбою, *его печаль—печаль моя*; пока его клеймят презрение и ложь, и ненависть, и тьма, во дни тревог, во дни гоненья *с себя не сброшу я клейма*",—пишет М. Абрамович.

Тот же мотив еще с большей силой повторяется в глубокопережитом стихотворении: „Ах, званье избранного мне надоело, до рас и вопросов, какое мне дело. Нет, я не еврей, не еврей"...

Поэт все еще верит в человека, ему смешно, какой он еврей, но одобренье врагов он встречает гордым презреньем и гневными словами:

Ведь я не для вас не еврей.
Лишь вспомнится злоба бездушная ваша—
Взволнуется сердце, преполнится чаша—
И в битву. Лозунг мой: „Еврей".
За нищих бездомных, поруганных братий
Звучит моя песня средь ваших проклятий,
Для вас, о враги, я еврей (стр. 215.)

В сборнике „поэта-не еврея" выделялись колоритностью и звучностью поэмы на библейские мотивы, но не они характерны для эпохи безысходности и растерянности, так болезненно и остро переданной автором.

Народ у М. Абрамовича—герой терпенья, неспособный на протест. Поэта мучит долготерпенье народа, который уже „изнемог от терпенья"... „Племя Сиона в жалкой тоске изнывает. Тщетно на время оно уповает... Выю согбенную давит ошейник" (стр. 229).

В 1887 г. вышел первый сборник стихотворений Н. М. Минского.

Это был тот самый норд-вест, который в 1879 г. чуть не в каждом номере „Рассвета" писал упорно, монотонно и настойчиво все на одну тему по еврейскому вопросу, задыхаясь в гетто и тоскуя по иным темам, вне черты.

Книга стихов сразу выдвинула Минского, который пишет в ней *исключительно на общерусские темы*, о русском народе, о русских писателях, о родине, *ни словом не обмолвившись о евреях* даже в том месте своих „Белых ночей“, где вспоминает печальную повесть своей юности. *И все-таки в каждой строке этого сборника тоскует душа еврея-интеллигента*, задыхающегося в атмосфере 80-х г.г., как в поэзии С. Я. Надсона громко говорит голос крови, несмотря на то, что среди стихотворений поэта-юноши было только одно, посвященное родному народу, да и это единственное стихотворение вошло лишь в последние издания произведений С. Я. Надсона.

Из трех муз, которые предстали пред поэтом Минским в юности, он выбрал ту, которая несла жажду истины, сомненья и страданья. Она обещала водрузить факел „в душу скорбную поэта“ и озарить „всех чувств, всех дум его *пустыню*“, она помогает ему ощутить „дрожь *отчаяния*“, она дает силу его песне „*печалью уязвлять сердца, застывшие в безверии*“ (стр. 3).

Вечно рефлектирующий поэт прекрасно определяет свою индивидуальность: Пушкин и Лермонтов кажутся ему певцами счастливейших столетий, „простыми, страстными, беспечными, как дети“; у него уже в раннем детстве, с колыбели не было „беспечности свободной“, радости и простоты. Его „демон“ страшен тем, что, „правду отрицая, он высшей правды ждет страстней, чем серафим“, он—„пророк“, который пьет отравленный желчью напиток из чаши отравляющей тоски и совести немолчной, В его душе свинцовою волною „скорбь растет, не зная сна“, на земле он грусть свою встречает, из небес он пьет свою печаль, „в минуту скорби он признается: и никого я не люблю, все мне чужды, чужд я всем, ни о ком я не скорблю и не радуюсь ни с кем“. Он пишет стихи „Скорбь“, „В минуты скорби“, „Белые ночи“, полные тоски и „вялой бессильной истомы“. Петербургская белая ночь воплотила в себе эту истому, тоску. В саване белых ночей самая природа кажется ему знакомым покойником:

Уставя на землю открытые очи,
Со скорбью, застывшей на бледных устах,
Таинственно, молча, с лицом помертвелым,
Широко закутана саваном белым,
Бесстрашно лежит эта ночь в небесах,
Как-будто в гробу...

Эта ночь полюбилась поэту и стала его подругой, в такую ночь он скорбит о тех, „чью любовь осмеяли, кто злобы не мог в своем сердце найти, кто полон сомнений и полон печали *стоит на распутьи, не зная пути*", он скорбит о больном поколеньи, чьи думы умом он согласным ловил, и пишет он свои скорбные песни, „зачатые в черные дни, рожденные в белые ночи". В этих песнях он оплакивает друга, который, уходя, говорил: „Я не знаю, где правда и свет, я не знаю, какому молиться мне богу".

Драма Минского.—„Осада Тульчина". Минский—де-Кастро.

Не о таинственном незнакомце-народе и не о сермяжном горе пропел свою песню Минский, а о больном поколении 80-х г. г., о листьях опавших, о бреде вчерашнем, о надеждах разбитых и крыльях перешибленных.

Тот же поэт, думавший „согласно" с больным поколением, написал интересную драму „Осада Тульчина", которая появилась через год после сборника в „Восходе", и эта драма была целиком посвящена еврейскому народу, о котором умолчал поэт в своих песнях.

Историческая драма из эпохи Богдана Хмельницкого полна тех же сомнений и чувства безвыходности, которыми было пропитано больное поколение. Оно слишком близко к современности. Но эта драма, полная метких и ярких характеристик, глубоких обобщений, должна занять видное место в истории русско-еврейской литературы. В наши дни с особенной остротой чувствуется страстный лиризм и едкая горечь этого серьезного и глубоко пережитого произведения.

И, хотя помечена эта драма 88-м годом, повидимому, она зародилась в черные дни до выхода первого сборника. Она кажется исповедью автора, в ней бьется сердце эпохи безвременья.

Сюжет драмы целиком заимствован автором из летописи современности [1]), в основу положен исторический факт...

В ряде картин обрисован лагерь атамана Кривоноса, осаждающего Тульчин, двор князя Януша Четвертинского и его жены княгини Зои, лагерь евреев, самоотверженно защищающих вместе с поляками город.

Пред вами проходят казаки, евреи, поляки и их вожди и духовные отцы.

В лагерь Кривоноса приводят двух заявленных лазутчиков — поляка и еврея. Из их опроса атаман видит, что в крепости хлеба хватит надолго, и ему сдается, что не совладать казакам с Тульчиным проклятым... Слепой кобзарь, уловивший вражду поляка и еврея, подает атаману азиатский коварный план: повесить еврея, а лазутчика-поляка с почетом отпустить в крепость и с его помощью пересорить и разделить союзников:

Вы видите их дружбу ныне, дети.
Сам бог дает нам средство их разнять,
Пошлите в крепость пойманного ляха
И чрез него всем ляхам объявите,
Что не на них войною вы пришли,
А на жидов, на нехристей, что рады
Бы отступить, жидов заполучив.
Ох, детки: через день открыта крепость.
Сперва жидов, потом побьете ляхов,
И живо в путь к товарищам на помощь.

Слепой кобзарь оказывается мудрым политиком. В лагере осажденных начинается смута, князь, связанный договором с евреями, колеблется, а ксендз-иезуит доказывает, что цель оправдывает средства.

Молодой раввин де-Кастро, выходец из Испании, узнает о плане казаков, о колебаниях князя, удер-

---

[1]) Persécutions des israélites de la Pologne, trad. de l'hebrev je van Messoula par Daniel de'vy Hameen. 1855.

живает князя с помощью княгини от предательства и пытается уговорить евреев достроить башню и отбить приступ. Но в самый решительный момент против молодого раввина выступает старый раввин Аарон, сорок лет руководивший общиной. *Мечу* он противопоставляет *Тору*.

Народ идет за ним. Начинается приступ казаков. Поляки открывают ворота. Евреи бросают оружие. Их избивают, а потом расправляются и с поляками. Город взят.

Характеристики стихийного Кривоноса, коварного кобзаря, поэтического красавца—молодого казака Юруся, влюбившего в себя княгиню польку, безхарактерного князя и хитрого ксендза-иезуита, польского шляхтича, „который слаб волею, могуч воображеньем, две чарки пьет, на десять чарок пьян",—беглы, эскизны, а порой и произвольны. Но все перечисленные персонажи—только фон. В центре — еврейский народ и два его вождя: ассимилировавшийся еврей-испанец, сын испанца Маррана де-Кастро и ветхозаветный раввин—патриарх Аарон—хранитель традиций.

Де-Кастро воинственный и темпераментный, как истый испанец, пьянеющий от шума битвы, не останавливается пред религиозными традициями. Он призывает в субботу достраивать башню. Он уверен, что евреи-защитники изменились, „не прежние они", что „львенок окогтился", и среди забитых воскресли Маккавеи: „их дух расцвел, как дерево весною".

Но старый раввин знает, что евреи не изменились. „Скорей земля с основ своих слетит, чем в чем-нибудь Израиль изменится". На горячую реплику де-Кастро, что народ—„еще вчера трепещущая жертва",—нашел в душе отвагу, а на земле—союзников, нашел друзей, отчизну. Старик отвечает, поднимая Библию перед народом: „Вот отчизна наша, ее никто отнять не может, мы наизусть свою отчизну знаем"...

Напрасно испанец призывает не рассуждать, а защищаться, его, хотя еще и слушают, но уже не слышат. В ярком диалоге обрисовано два типа:

Раввин Аарон.

Ох, дети. Вас погубит *иноземец*,
Он нам *чужой*, не знает, что издревле
Нас защищает наша беззащитность.
А если б мы дерзали защищаться,
С лица земли нас стерли бы давно.

Кастро.

Так говорить ты можешь потому,
Что на тебе столетья тяготеют
Суровых бед, обид, насмешек горьких.
Ныне умереть желаннее стократ,
Чем жить, как вы доныне прозябали,
Равно дрожа пред жизнью и пред смертью,
Врагам своим внушая отвращенье...

Та сцена, где возмущенного иноземца-еврея побеждает еврей-патриарх, производит сильное впечатление. У де-Кастро нехватает нравственной силы удержать колеблющихся, старый учитель в изображении поэта—выше и сильнее.

Кастро.

Несчастные, нам дороги минуты...

Раввин Аарон.

Минуты он жалеет, безрассудный,
А вечности не жаль ему. О, братья,
Куда ведет нас этот *иноземец*?
Себя с детьми спасете лишь на время,
Но что тогда ждет в Польше наш народ?
Кто вам дороже: вы иль ваш народ?...
Умрем во имя бога и народа.

Кастро.

Враги у стен, а мы стоим—о, горе!—
Болтливому внимая старику,
Принесшему в бессильном сердце трусость.

Раввин Аарон.

Евреи! Я ль принес вам в сердце трусость?
Не я ль сказал: умрем во имя бога!
Не я ль сказал: умрем за свой народ.

Де-Кастро горит возмущением, он жаждет возмездия. Победитель Кривонос поражен его смелостью, оставляет ему жизнь, чтобы он упился мщением при расправе над поляками. Но эта расправа перерождает и без того потрясенного де-Кастро. Он „отрезвлен

чужим несчастьем", он начинает сознавать, что „великие страдания, как и счастье великое, ведет к любви великой" и склоняет голову пред мученичеством народа.

Всепрощающий, он молит бога за поляков, он просит Кривоноса пощадить поляков. Кривонос убивает непонятного ему еврея кинжалом: „Ты надоел мне карканьем своим".

Старый раввин остается и благословляет праведного судью.

В этой драме сам автор является кающимся ассимилятором, смирившимся де-Кастро. Он стремится совлечь с себя нового человека, чужого, иноземца и подойти ближе к народу Книги. Но в переживании де-Кастро на толстовский образец, в его проповеди смирения и непротивления, в его культе страдания—последний предел человеческого отчаяния.

Художник не идет за ассимилированным де-Кастро, но он не в силах итти и за ветхозаветным раввином Аароном. Он уходит в себя и становится индивидуалистом, отрицателем общественности.

В своих последних произведениях он „цепи старые свергает и песни новые поет", присоединяется к декадентам-символистам, сверхчеловекам, сверх-индивидуалистам, проповедникам наслаждения. Он уходит из стана погибающих к... чужим... и уже не создает ничего яркого, индивидуального.

Поэзия С. Г. Фруга и драма еврея-восьмидесятника.

Книга, которую поднимал в драме Минского раввин Аарон пред народом в мрачный час, является главным источником С. Г. Фруга. Этот писатель раньше других поэтов заговорил в русско-еврейской литературе о еврейском народе, раньше других, раньше Бялика нашел гневные ноты и слова утешения.

С. Г. Фруг прекрасно владел русским языком. Свободный, яркий и звучный стих, свежие краски, вели-

чавые образы, волнующая настроенность сразу выдвинули поэта, и уже по выходе его сборника (1885) о молодом певце заговорила горячо не только еврейская, но и русская печать. Известный критик и публицист К. Арсеньев причислил С. Фруга в журнале „Вестник Европы“ к группе „*лучших*“ поэтов нового поколения. Молодой поэт мог растворить свою поэзию в обще-русской литературе, как сделал и это Надсон, Абрамович, Минский-Виленкин, но поэт стал эоловой арфой своего народа, стал национальным еврейским поэтом. Фруг начал писать в 1880 г. в „Рассвете“ и „Русском Еврее“. Прежде, чем стать писателем, он был писцом в канцелярии херсонского раввина. В свободное от канцелярии время писал он свои первые стихи и посылал в петербургские журналы. Первые песни Фруга написаны в годы бегства евреев из России, последние песни его допеты в 1916 г., в кошмарные дни „беженства“, но с особенной силой его эолова арфа звучала в 80-е годы.

Говорить о 80-х годах, это—говорить о поэзии С. Г. Фруга, говорить о поэзии Фруга — говорить о 80-х годах.

Если поэт Н. А. Некрасов встретил в Петербурге на Сенной свою „кнутом иссеченную музу“, то поэт С. Г. Фруг нашел свою музу на путях и перепутьях еврейского скитальчества. Встретил в 80-е годы и оставался всю жизнь свою верен этой мрачной полосе. Даже в 1905 г. пред вами поэт-восьмидесятник; таким же восьмидесятником сошел он и в могилу 7 сентября 1916 г., в кошмарную эпоху новых гонений, когда последним мрачным огнем вспыхнули его „дневники“. Его восьмидесятничество сказалось в его аполитичности, а порой в отсутствии литературной разборчивости. Если наш А. П. Чехов писал в 80-е годы в „Осколках“ и в „Новом Времени“, то С. Г. Фруг в 1901 году писал под псевдонимом в качестве фельетониста в „Петербургской Газете“, в годы, когда ему приходилось голодать: „что же было делать? Ведь еврейские меценаты не спасут меня от голода“,—го-

ворил он С. Дубнову [1]). Отсутствие политического ригоризма сказалось в том, что, как и рука Н. А. Некрасова, и его рука „у лиры звук неверный исторгала", и в 1894 г. после смерти Александра III поэт взял фальшивый, бряцающий тон в одном стихотворении. Это был ложный шаг, за который нельзя было отлучать поэта от церкви, да и сам он слишком много страдал в годы своих блужданий, ибо знал, что испортил песню своей жизни. Винить надо тех, которые не поддержали поэта, уже показавшего свой талант и уже сказавшего свое слово. И это слово навсегда останется в русско-еврейской литературе, и в этом слове—„капля крови—общая с народом".

Еврейский историк С. Дубнов в „Воспоминаниях о С. Г. Фруге", напечатанных в IV выпуске „Еврейской старины", в год смерти поэта сообщил ряд ценных фактов и пришел к интересным выводам. Эти воспоминания тем более ценны, что маститый историк часто встречался с поэтом в начале 80-х годов, а в 1883—1884 г. г. С. Дубнов и С. Фруг жили рядом в двух смежных комнатах в стареньком двухъэтажном доме, доныне сохранившемся на площади Троицкой церкви у Измайловского проспекта (стр. 445).

В этих воспоминаниях говорится об историческом и общественном значении поэзии Фруга, которое „может оценить лишь тот, *кто пережил выраженные ею эмоции в раннюю пору ее расцвета, в 80-е годы. Люди следующих поколений, когда творчество Фруга остановилось в своем росте, не могут себе представить, какое глубокое душевное волнение вызывали в первые годы фатальной эпохи его современные элегии, библейские мотивы, исторические легенды,* как много говорил истерзанному сердцу своего поколения поэт, который „ни одной песни веселой не спел своему народу" (стр. 441).

В эмоциях, в настроениях, в думах и образах поэта сказалась его драма. Эта личная драма тесно связана с драмой целого поколения, и поэтому характеристика поэзии Фруга, это—раскрытие драмы еврея-

[1]) „Еврейская Старина", 1916 г., IV вып., стр. 453.

восьмидесятника, остро пережившего великую скорбь бедствующего народа.

Если автор нашумевшего романа „Горячее время" Л. О. Леванда явился выразителем предшествующей эпохи, воплотил в своем творчестве драгоценное время надежд, радостного *чаяния* еврейской *интеллигенции*, жажду слияния с коренным населением, горячие мечты об эмансипации и равноправии, то С. Г. Фруг принес в литературу совершенно иные настроения и лозунги, он отозвался на *отчаяние* своего народа, оплакивал страдание *„бедствующего народа"*, он пропел *„песнь надгробную надежде"*, он рассказал о разрыве. Проповеди ассимиляции и национального упразднения он противопоставил проповедь обособления и национального возрождения, лозунгу „прочь из гетто" он противопоставил горячий призыв домой. Один пришел в эпоху великих реформ и написал свой роман в *горячее* время, другой стал певцом гонимого народа в *смутное* время, в сумерки, в годы чеховских настроений и надсоновской безысходности. Но прежде, чем художника-обрусителя заменил поэт-националист, этот поэт пережил глубокое душевное потрясение в 1881 году. Об этом он сам рассказывает с великою скорбью в прекрасном стихотворении „Грезы детства золотого" [1]).

Мы мечтали: *пир победный—*
Праздник правды, и на нем
Наш народ, больной и бледный,
Тоже с кубком за столом
Он не раб, не гость случайный,
Он боролся, он страдал,
О, как мирно, в грезе тайной
Детский ум наш засыпал!
Сладки были те виденья,
Годы шли, и *вот для нас*
Рокового пробужденья
Пробил страшный, грозный час.
О, не пой, не пой, как прежде,
В дни весны в родных полях
О не меркнущей надежде,
О не вянущих цветах.

---

[1]) Из цикла „Листки из дневника".

Страшный, грозный час рокового пробужденья пробил не для одного С. Г. Фруга, а и для Л. О. Леванды и для еврейской интеллигенции, оторвавшейся от народа и прилепившейся душой и сердцем, и чувствами, и мыслью к России, которую они все, по образному выражению Фруга, считали *„вторым Сионом“*.

Этому второму Сиону посвящает в феврале поэт трогательно-нежные стихи, и этот же второй Сион через несколько месяцев становится страною нечеловеческих мук, когда против гонимого народа восстала „страшная, дикая сила“, когда:

С полей обнищавшей, голодной России
Доносились к нам стоны отцов и детей,
Ставших жертвой диких, разгульных страстей.

Страшная, дикая сила отняла у еврейского народа и интеллигенции второй Сион, стоны отцов и детей призывали к бедствующему народу. Наступил период, когда блудный сын возвратился к отцу. Это был разрыв с прошлым, это была мучительная драма. И эту драму особенно остро пережил поэт, в груди которого жило две души и две песни.

С. Г. Фруг, которому в молодости пришлось пережить мытарства еврея, лишенного права жительства, поэт, прописавшийся в Петербурге, „домашним служащим“ или просто лакеем у адвоката М. С. Варшавского,—страстно любил природу, ее поля, луга, родную Херсонскую губернию, широкий Днепр, который был *свидетелем* его „юных грез“. В стихотворении „Итоги“ он с гневной скорбью писал:

Мне сорок лет, а я не знал
И дня отрадного поныне;
Подобно страннику в пустыне,
Среди песков и голых скал
Брожу, пути не разбирая.
Россия—родина моя,
Но мне чужда страна родная,
Как чужеземные края...
Как враг лихой, как прокаженный,
От всех запретом огражденный,
Я не видал дубрав и гор,
Твоих морей, твоих озер,

Как сказке о чужой и чудной
Стране, рассказам я внимал
Про гордый строй Кавказских стран
И Крыма берег изумрудный...

Это писал *русский* еврей, здесь выразилась скорбь *русского* еврея. Позднее другой поэт X. Зингер в своих „Песнях Сиона", написанных под влиянием „Сионид" Фруга в 90-х годах, с суровым упреком обратился к автору этих надрывающих душу „Итогов":

Мой друг усталый, друг печальный,
Твои „Итоги" я прочел:
Какой-то тризной погребальной
Звучит мне ныне твой глагол,
Как будто молодость хоронишь,
А с ней надежды и мечты,
О чем тоска? О чем так стонешь?
Ужель от чуждой красоты
Не отрешился ты поныне?

В этом посвящении С. Г. Фругу один из его эпигонов проявил поразительную нечуткость. Ведь мука и драма С. Г. Фруга в том и заключалась, что красота южных степей, красота Днепра никогда не была ему чуждой, что его душу в страшный, роковой час пробуждения насильно отрешили, отрывали от второго Сиона. От мучительной, нежной любви к целомудренно-стыдливой красоте родного пейзажа никогда не мог отрешиться поэт, и в этом была его тоска, заставлявшая его стонать и плакать.

Бессмысленно-злые, враждебные силы стремились родное и близкое сделать чуждым, чужим поэту, а его все влекло к родным небесам, к родным полям.

В прекрасном стихотворении „Над Днепром" С. Г. Фруг обращается к „широкому" Днепру, свидетелю юных грез его, с трогательными, волнующими стихами:

Но здесь у волн твоих, где только год назад
Любовью грудь моя и верой наполнялась,
И песня русская не раз со струн срывалась,
Когда я петь хотел Сионским песням в лад, —
Здесь буду я рыдать.

Поэт пропел две песни; песнь сионскую и песню русскую; он воспел две реки: и библейский Иордан и шевченковский Днепр; он слагал легенды, сказанья и притчи по прочтении пророков „на мотивы из пророков“, при чтении Библии „на библейские темы“, и он же нежно любил поэзию Пушкина, глубоко чувствовал „пленительные тайны непостижимой красоты“ в думах Т. Г. Шевченко, прислушивался к звездным песням Фета и хорошо помнил „муку, гнев и печаль“ Н. А. Некрасова.

Он знал и высоко ценил русскую литературу, это священное писание родной страны, и те песни, которые пропели „светочи русской земли“. Его национальный романтизм родился из того же мрака русской жизни, как и национальный романтизм Т. Г. Шевченко, его скорбные, гневные, протестующие стихи близки гражданской поэзии Н. А. Некрасова.

Чутким ухом поэт уловил далекие отзвуки седой старины, те звуки и песни, что „отгремели и ушли“, он изучил мрачную повесть о муках народа-узника, народа-скитальца, раба рабов, он заклеймил темницы и костры средневековья, оплакал могилы и гробницы мучеников мысли и возложил венки из старых терний. И он же вспомнил о раздольи степей, о привольных полях, о покоях, „обрызганных жемчугом“, он хотел глядеть не уставая „на степь зеленую“, на эту ширь без края и людям рассказать... „как сладостна она, святая воля эта, где взору нет границ, где сердцу нет запрета, как быстрому крылу нагорного орла“ („В степи“).

Его муза, как Аэндорская волшебница, вызвала величавые образы „из-под нагробных плит, из тьмы сырых могил“: тут и пророки, и вожди, и мученики; и та же муза, как юная улыбающаяся весна, воскресила уголок детства и отрочества, уголок, „где песней соловьиной катились дни исчезнувшей весны“...

Поэт, родившийся в еврейской земледельческой колонии Херсонской губернии, оживает, весь светится, когда вновь встает перед ним „цветущий уголок любимый и родной“...

„Унылая“, „печальная“, „рыдающая“ лира—неузнаваема. Песню, которая была пропитана „гневом, тоскою и мукою жгучей“, отравлена ядом сомненья, одета в черные одежды меланхолии, сменяет другая. Куда-то отошли призраки пустыни, отодвинулись полынь и бурьян, „чахлый кустарник, скалистые кручи, своды немых безответных небес“, самые краски поэта помолодели, засверкали и загорелись всеми цветами радуги.

Весь в цвету, душист и бел,
Облит утренней росою
Зашумел, зашелестел
Сад вишневый надо мною.
С зеленеющих полей
Вея миром, жизнью, силой,
Шлет мне отзвук детских дней
Уголок родной и милый
Новороссии моей...

В вечерней синей мгле оживают и „тополь серебряный, грезою скованный“, и старая ива, склонившаяся над светлым прудом.

Молятся оба, объяты *востдргом* одним,
Каждым листочком своим...
Каждою струйкою сока в изгибах ветвей,
Каждою жилкой корней („Тихо в полях“).

Поэт с какой-то детской настороженностью ловит светлый звон теплого весеннего дождя, брызги которого летят „над зеленью полей в просторе благовонном“... Он перерождается... Он забывает, что он потомок Агасфера. „Вестники весны“ его захватывают...

Чьи-то звуки, чьи-то песни
Льются с радужных высот.
Чей-то голос нежный, милый
В даль звенящую зовет...
Ах! уйти бы в поле,
В степь, на волю, на простор...
Сны последние развеять,
Цепь последнюю сорвать.

Напряженность, угрюмость, однотонность, медлительность слов заменяется игрой звуков, свободных и радостных, и „звуки вольные певучей чередой плы-

вут со всех сторон, звенят, и в душу рвутся, и будят жизнь в груди, и с уст свободных льются *веселой, светлою, живительной волной*" („В степи").

Вот он вспомнил свой вишневый сад, и отошли куда-то скорби и боли, „тих и светел сердца сон". Душа выпрямляется, и нет вокруг ни гробов, ни могил, ни тоски, ни уныния. Монотонные причитания уступили место радостной песне:

Полон свежестию вешней,
Искрясь дивной красотой,
Точно стих из Песни Песней
Тихо льется надо мной.

Сам поэт прекрасно сознает, свое воскресенье там, среди родных полей.

„Какая ширь и сколько света!
Да, здесь и только здесь, друзья
Опять свежа, опять согрета,
Опять жива душа моя „В поле".

Самый ритм стихов изменяется, слышишь, как усиленно бьется помолодевшее сердце, и вы вместе с поэтом, радуясь и улыбаясь, повторяете: „Зашумели, засияли нивы наши. Не обнять этой шири, этой дали, золотую благодать" („Урожай").

Сняты траурные одежды, закрыты ветхие страницы, радостно смеется солнце, и манит жизнь, сияющее золотое поле. Нет в душе поэта, по его же признанью, „той думы *роковой, что стоном обрывала созвучья звонких струн*, когда на них звучала ликующая песнь свободы и любви"... („Степного ветерка прохладная струя").

Свои сионские песни С. Г. Фруг пел, как молитвы „в годину скорби, посыпав пеплом главу", пел, исполняя свой долг перед еврейским народом; принимая „общее жгучее горе" миллионов на свои плечи, он укрощал свои желания, он подавлял свои мечты „уздой холодного сознанья."... Свою русскую песню, песню молодости, весны и свежести, песню веры, надежды и любви, он не должен был петь, но она сама пелась помимо воли, вопреки сознанию „срывалась" со струн, и звучала она не тризной погребальной, а звенела серебрянным колокольчиком.

Его сионская песнь—венок из старых терний, его русская песня—белые цветы вишневого сада.

Порой поэт стыдится этих белых цветов, улыбающихся красок и веселых колокольчиков... В душу глядит холодный мрак чужбины...

Ненавистный враг рвет белые цветы, топчет надежды, отравляет нечаянную радость... И когда поэт вспоминает об этом, он обрывает русскую песню, как оборвалась она после погромов 1881 года.

О, не пой, не пой, как прежде,
В дни весны в родных полях,
О не меркнущей надежде,
О невянущих цветах [1]).

Сколько раз говорил поэт себе это „не пой", сколько раз роковая дума его резко обрывала созвучья звонких струн!

Сколько светлых и радостных, родных всем нам— и русским и евреям—песен мог пропеть влюбленный в родную красоту поэт. Но эти песни не пропеты или недопеты.

Последние стихотворения поэта посвящены новому исходу, посвящены мукам беженцев-евреев, горю униженного и оскорбленного народа. Это те же венки из старых терний, возложенные поэтом на родные могилы.

Мы знаем, что сейчас народ-скиталец пройдет мимо русской песни С. Г. Фруга и будет плакать над „напевом погребальным" его скорбных писем. Но придет время, когда до измученного сердца дойдет иная песня, „песня без стона", песня о родной земле, которой никто не посмеет отнять... Пусть тогда отнесут на могилу поэта белые цветы вишневого сада.

Две песни звучали в душе не только поэта, но в душе каждого интеллигентного еврея. В разные эпохи то одна, то другая брала перевес. После 1881—1882 г.г. побеждает песня-стон, побеждает плач на реках Вавилонских, побеждает сионская песня.

Певец, „рожденный в грозу", в своем юбилейном

[1]) Из цикла „Листки из дневника", стих. „Грезы детства золотого".

стихотворении, помеченном датами „1880—1910 г.“, с глубокою искренностью свидетельствует: „Мой утренний псалом раздался, как рыданье, и стоном юный гимн мой прозвучал“ (т. I, стр. 9). Этот стон звучит, не смолкая даже в 1905 г. Поэт не в силах забыть о роковом пробужденьи в час кровавых погромов 1881 года, он пророчески предупреждает о часе нового рокового пробуждения, предупреждает тех, которые, как „родины общей сыны“, готовы забыться „в лучах всероссийской весны“. Поэт, уже не верит в эту весну, в *весну всероссийскую*, он, как поэт, родился под несчастливой звездой 1881 года. У колыбели его поэзии стоит кровавый призрак елизаветградского погрома, как у колыбели творчества Бялика—автора гневного „Сказанья о кишиневском погроме“—стоит город резни в 1903 году.

С. Г. Фруг пишет:

Четверть века минуло.
Я помню и сладкие сны той призрачной яркой весны
И как мы проснулись от гула свирепой и дикой орды,
Дымившей огнем истребленья и ядом смертельной вражды,
. . . . и вот
С далеких шумных высот вновь призрак желанной свободы
Мерцает и снова зовет... и снова мы верить готовы и верить народу велим...
Не верьте, о, братья, не верьте! Одна для нас лишь возможна свобода
На собственной ниве, в свободной стране, где наш гений народный
Когда-то сиял и творил, даруя враждебному миру
Скрижали закона и лиру и правды живой благодать.

Поэт уже не верит во всероссийскую весну, *не верит во второй „Сион“, но не в силах он беззаветно уверовать и в возрожденье первого Сиона*. Он мог бы сказать, как мытарь: „Верую, Господи! Помози моему неверию“.—И в этом узел его драмы.

Не рожденью, а смерти, не колыбели, а могиле посвящена сионская песня поэта. Певец-гробовщик погружен в „угрюмый мрак могилы“, даже и среди долин и полей после 1881 г. ему „слышатся стоны и чьи-то рыданья в тиши“ (I—83).

Его муза бродит, как неприкаянная, как тень, среди могил еврейских, и тоскливо разбирает полустертые „буквы на камнях“, которые взывают из моха и пыли: „Мы жили... мы были“...

Самые стихи С. Г. Фруга, это—буквы на камнях, это—надписи на могилах. Поэт не поет, а отпевает, не вспоминает, а ставит памятники. Там, среди могил, ищет поэт убежища, к тем же могилам приходят его беженцы, измученные герои его последних стихотворений: там находят они „милый ночлег“ и „ласковый приют“ („Ночевка“).

От черных дней, от тяжких впечатлений настоящего его тянет к далекому прошлому, его волнуют, вдохновляют „дела давно минувших дней, преданья старины глубокой“, он становится поэтом-романтиком, который поет не о том, что есть, а о том, чего нет, но что, по его глубокому убеждению, гораздо лучше того, что есть, и даже больше похоже на правду.

Его хочется сравнить не с юным С. Я. Надсоном, узким, не глубоким поэтом, утомляющим своим однообразием, а с Т. Г. Шевченко, на юбилейном чествовании памяти которого Фруг выступил с прекрасными стихами. Недаром еврейский поэт называл певца украинского народа „милым поэтом“, недаром он принес на праздник Т. Г. Шевченко „не укоризну“, а „слово теплое привета заветной памяти поэта, который сердцу *люб* и *мил*“, недаром он так чутко умел понять нежность и мягкость этого на вид сурового певца кровавых расправ, почувствовать „пленительные тайны непостижимой красоты“. Подобно Т. Г. Шевченко, воспевшему степные курганы, могилы гетманов, былую славу, С. Г. Фруг уходит к своим курганам...

Бывший крепостной украинец дворового барина уносился „думами“ в далекое прошлое, когда подвизались сыны славной воли; прикрепленный к черте оседлости еврей, проживавший в качестве лакея, которому судьба дала два достоянья—„жажду свободы и долю раба“, уносился вольною мыслью в глубокую старину, в эпоху вождей и пророков, туда, где ему светит „вечный факел дум бессмертных“.

В мире преданий, легенд и сказаний он ищет утешения и поддержки, предсказаний и предвестий.

В краткой автобиографии С. Г. Фруга, приводимой в „Восходе“ (1885 г., I, стр. 21), вы найдете ценные строки: „Я имел счастье пристраститься к древнееврейскому языку и полюбил пророков всеми силами моей молодой души, я их боготворил“.

Пророки библейские вдохновили поэта, к плачам Иеремии присоединил С. Г. Фруг и свой плач, вместе с ним повторяя: „Он пресытил меня горечью, напоил меня полынью“.

Полынью и горечью пропитана поэзия певца разрушенного храма, разбитой надежды и поруганной веры.

В годы скорби поэт вспомнил свои далекие, детские впечатления от чтения древней книги, в его поэзии зазвучали голоса вождей народа („Грядущее“, „В темнице“, „Пророк-пастух“, „В судные дни“, „Давид и Голиаф“), голоса Исаии, Иеремии, Амоса, Самуила, призывающие к пробуждению, к борьбе; воскресли библейские легенды, освещенные по-новому („Дочь Иеффая“) и полные вечной красоты.

Униженным и оскорбленным поэт напомнил величие прошлого, робким и покорным он напомнил тоску пламенного гнева. Поэт „зажег свою лампаду пред хартией священной“, ушел в Книгу, там он ищет и находит прекраснейшие, поднимающие душу страницы, негаснущим и неугасимым светом озаряет измученные лица своих читателей.

Он становится представителем исторического романтизма.

Первый свой том он начинает стихотворением „Библия“. Это ключ к его поэзии.

Вы читаете страницу за страницей, точно проходите мимо могил прошлого. „Буквы на камнях горят“... Пред вами проносится „толпа святых теней, плывут, мерцают образы немые“, плывут, оживают, выпрямляют усталую душу и навевают, как сон золотой, веру в торжество правды.

И поэт грезит *„о солнечных далях“* и за голосами:

„мы жили... мы были“ слышит новые пророческие: „мы были... мы *будем*“. Романтику прошлого он сплетает с романтикой будущего и поет свои „Сиониды“ и выпускает сборник из песен, пропетых в 1877—1902 годах, в годы сионистского движения и базельских конгрессов.

Мечта народа-скитальца, проливающего слезы „на реках вавилонских“, мечта о возрождении Сиона, мечта народа, бегущего от черных дней безвременья и бездорожья к солнечным далям несбыточного, под лучезарную сень легенд и сказаний, становилась и его мечтой. Он не хочет видеть, сколько отчаяния и пессимизма в этой последней мечте.

Мало солнца в его солнечных далях. Когда он молит Господа послать за годы борьбы и ненастья „хоть миг утешенья, хоть капельку счастья“ (т. I—55), вы в самом тоне этой мольбы слышите, как мало веры и надежды на эту „хоть капельку счастья“.

Поэт-сионист идет по стопам Иеремии, Иегуды бен-Галеви, Михаила Лебензона, пропевших свои „Сиониды“, но не песни слагает, а роняет „бессильные слезы на обветшалые могилы“, свой сад поливает „не ключевой водой, потоком слез горючих“, и этот сад зарос „полынью горькою и тернием колючим“ (т. I—135).

Поэт не умеет безотчетно, слепо отдаться очарованию легенд, сказке прошлого, он не умеет забыться... Он воскрешает легенду, но сам же с тоской сознает и говорит, что мир преданий, глас пророков, шум дружин,—„эти люди, эти силы *отгремели и ушли*“; он прекрасно понимает, что кругом „не гнев, не злоба негодующих людей—лишь порой во тьме из гроба раздается стук костей“ (I—138).

Эта трезвость мысли, эта поэтическая бессонница разрушает чары легенд.

С. Г. Фруг не только исторический романтик, он романтик, вечно *рефлектирующий*. И недаром же свои стихи он зовет „*отравленным* стихом“, себя „*больным*“ сыном больного века (III—5), а свою душу „*скорбной, глухой и унылой*“ (III—120).

Поэт, родившийся среди людей труда в еврейской земледельческой колонии Боровом Куте, чувствует себя частицей *трудового* народа. Он полюбил с детства поэзию полевого труда на родной ниве, эту пережитую поэзию вложил он в прекрасный призыв: „В поле, народ обездоленный, в поле! Там обретешь ты в труде и на воле снова и бога и счастье“. Он поет не о себе, не об интеллигенции, а о своем народе, он первый из еврейских поэтов заговорил на русском языке о народном горе, которое „из миллионов стонущих грудей проникло в грудь“ его—еще юного поэта.

Но народ его поэзии, это—не те борющиеся массы, о которых позднее разсказали Ан-ский и Юшкевич, это народ—*бедствующий и беспомощный*, это не герой борьбы, а герой терпения.

В прекрасном стихотворении „Мрачна моя душа“ поэт пишет: „Народ! Народ! Один удел мне дан с с тобой: порывы мощные и связанные крылья. В очах пылает гнев, душа кипит грозой, в руках постыдное бессилье“ (т. I—27).

Пред этим связанным, бессильным, бескрылым героем, пред рабом рабов стоит певец еврейского народа, с жаждой свободы и с долей раба, стоит, „как пахарь перед нивой, *побитой грозой*“ (I—54).

Нет на устах у него вещего слова, нет пророческого посоха в руках... Он не знает, „чего желать, куда итти без упования, без пути“ (I—53). Его ум измучился, „устал от скорби и сомнений“, он поет „о горькой *рабской* доле“, он становится „могильщиком, что с нежных детских лет бродил среди гробов“, повторяя не раз рассказ о том, как „храмы гробницами стали“.

Эпиграфом к творчеству поэта-восьмидесятника могли бы послужить слова самого же С. Г. Фруга:

Как унылы наши песни,
Как бессилен крик „воскресни“
В душном склепе средь могил (III—121).

У национализма поэта подрезаны крылья: он слишком сросся с русской землей, чужбина—его родина

Поэт отказывается от русской песни ради сионской, но русская песня у С. Г. Фруга сильнее его сионских песен и глубже вскрывает и великую тоску и праведный гнев поэта, проклявшего долю раба.

Стихотворение „Итоги“ заканчивалось строками, в которых художник дает психологическое объяснение основного характера своей поэзии:

В темнице выросло дитя,—
Ему ли петь о блеске дня,
О шуме волн, просторе поля!
Бедна, убога песнь моя,
Как ты, моя слепая доля (т. III—249).

Песнь С. Г. Фруга действительно бедна, но это песня всех тех, кто вырос в темнице бесправия, всех не находящих исхода, всех, обреченных на Исход.

Гонимым, бесприютным, бездомным скитальцам и „беженцам“ наших дней посвящены думы поэта.

Предо мной лежит тетрадка с автографом поэта, помеченным 1916 годом, присланная им своему любимому артисту. Это „Дневники“. Здесь всего 12 стихотворений, посвященных страшному Исходу, происходящему на наших глазах.

Начинаются дневники посвящением:

Х. Н. Беляку.

Не шел по тем дорогам Иеремия,
Не плакала Рахиль у тех могил.

Во всех этих беженских стихотворениях („Два старца“, „В приюте“, „Забавный случай“, „Набег“, „Подруги“, „Ночевка“, „Могилы“, „А я жива“, „Чудачка“, „Дурачок“, „Меч и трезубец“) та же сгущенная скорбь, та же боль за человека, за униженный и оскорбленный народ, та же песня, хватающая за душу.

Когда несколько лет тому назад в Киеве был устроен фруговский вечер, зал был переполнен. Пришел на этот вечер даже дряхлый раввин-патриарх с седой бородой, который не показывался на вечерах со времен погромов 1881 года.

Артисты читали стихи, а в зале не смолкали рыдания. „Это был праздник еврейского горя“, рас-

сказывал мне артист А. А. Мурский, участник этого вечера.

Значение С. Г. Фруга в этих словах. Поэзия Фруга это—поэзия еврейского горя, это буквы на камнях.

Еврейские поэты Х. Зингер и Яффе поместили в своих сборниках посвящения „С. Г. Фругу“: Оба они отмечают одни и те же черты в стихах своего предшедственника.

Х. Зингер в „песнях Сиона“ говорит:

Какой-то тризной погребальной
Звучит мне ныне твой глагол.

Другой поэт, Яффе, в своем сборнике „Грядущее“ более мягко и более изящно говорил то же самое.

Он сопровождает свое посвящение эпиграфами из С. Т. Фруга. „Иди без устали, все рой да рой могилы“, „Как ненавистна ты, мучительная доля певца-гробовщика“. В духе этих траурных эпиграфов-эпитафий написано и стихотворение Яффе:

Веселой песни нам не спел ты ни одной,
Ты петь умел лишь нашу скорбь и боли,
Скитанья ужас, гнет неволи роковой,—
Ты стал певцом родимой доли.
Как гробовщик в ночи угрюмой ты могилы рыл
И в песнях вторил жалобам и стонам.
Ты нам тоскливый плач Галеви повторил
В своем *напеве похоронном* (40—41).

Стихи поэта С. Г. Фруга поэт Яффе сравнивает со слезой, упавшею из глаз Израиля, и этим подчеркивает кровную связь его тоскующей музы с тоскующим скитальцем-народом. Но поэту хочется верить, что С. Г. Фруг—последний певец тоски, невзгод и терний, что темной ночи близится конец, что сбудется волшебный сон о возрождении в отчизне, что песни Фруга будут взяты туда, в Сион, как память о минувшем.

Но сами поэты, и Х. Зингер и Яффе, не отрешились и поныне от напевов похоронных... Они тоже поют о минувшем, они тоже плачут на реках Вави-

лонских о разрушенном храме, и Яффе говорит языком С. Г. Фруга:

Уж больше нет силы сносить этот гнет—
Позор и гоненье народа...
Отчаянно сердце больное зовет:
Исхода! Исхода! Исхода! (стр. 1 „Домой“).

В этой однородности тем и однотонности настроений только подчеркивается ярче, что отчаяние и безысходность траурной поэзии С. Г. Фруга—не его индивидуальная черта, а господствующее настроение тех слоев „бедствующего народа“ еврейского, которым настоящее несет гибель, а будущее рисуется, как возврат к могильным камням, повитым плющем и повиликой, в царство исторической романтики.

Поэзия С. Г. Фруга это—буквы на камнях. В этих буквах увековечено горе гонимых, эти буквы высечены любящей, братской рукой, их не сотрет даже новая радостная эпоха.

Те тысячи юношей, девушек, старцев, которые провожали в Одессе 9-го сентября на кладбище останки поэта, прочли эти буквы и будут хранить их в душе и не раз придут к могиле поэта и вспомнят строки из его стихотворения „Могилы“, вошедшего в цикл „Дневников“—этих последних предсмертных, лебединых песней. Вспомнят строки прекрасные и скорбные, как эпитафия:

Могилы еврейские! Есть ли на свете страна,
Где камни бы ваши на страже веков не стояли,
И где бы сынам не вещали отцов имена
О радостном творчестве мысли в горчайших печалях,
О мраке безгранном и грезе о солнечных далях,
Нетающим снегом ложится веков седина,
А буквы на камнях горят, взывая из моха и пыли:
Мы были... мы жили... —

Поэт-восьмидесятник среди могил не находил исхода, и призывал к Исходу в страну могил.

ГЛАВА IX.

БЕДСТВУЮЩИЙ НАРОД.

Народолюбивая интеллигенция. Эмиграционисты и палестинцы.

Еще до погромов, в конце 70-х г.г., еврейские писатели начинают сознавать, что между ассимилированной интеллигенцией и еврейской массой выросла пропасть, что пора уже перестать верить в просвещенный абсолютизм и в поддержку русского прогрессивного общества. О покинутом еврейском народе заговорили они, и сама действительность подсказывала им это.

Уже „Общество распространения просвещения между евреями в России“, предполагавшее совершить работу в союзе с еврейской общественностью, в первое же десятилетие почувствовало, что старая еврейская общественность находится в состоянии распада и не пойдет за ним, а народившаяся интеллигенция под влиянием новых веяний почти сплошь ушла в общерусскую жизнь.

В 1879 г. возникает в Петербурге „Рассвет“ при ближайшем участии Г. И. Богрова, Минского-Виленкина, М. И. Кулишера. Они понимают наименование „еврейская интеллигенция“ не в смысле принадлежности к еврейскому племени, а в смысле сознания солидарности с еврейской *массой*, они говорят *о долге еврейской интеллигенции пред еврейским народом*. Здесь чувствуется влияние русского народничества. Если первые органы преследовали двоякую задачу и вели борьбу на два фронта, то теперь, по словам М. И. Кулишера, присоединяется третья задача [1]: „борьба с

[1] „Новый Восход“, № 36 — 37. „Пятидесятилетие русско-еврейской печати“.

индирефферентизмом молодого поколения среди евреев к еврейскому вопросу и интересам еврейской массы".

Эту борьбу ведет возродившийся „Рассвет". В № 9 там было напечатано письмо М. Лилиенблюма, который указывал, что еврейской массе должна содействовать еврейская молодежь, которая, за немногими исключениями знакома со своими несчастными братьями почти столько же, сколько с китайцами и японцами.

„Проповедники слияния,—писал он, — ничего не добились, тем не менее они содействовали отчуждению еврейской молодежи от тех, которые нуждаются в умственной и материальной помощи".

80-е годы с необычайной силой подчеркнули значение этих задач и поставили в центре внимания „бедствующий народ", его язык, его быт, его муки и его скорби.

В эти же годы расцветает литература на жаргоне. Еще в 1865 г. приходят художественные произведения „дедушки" жаргонной литературы Ш. Я. Абрамовича; теперь же выступает целая плеяда оригинальных еврейских писателей, творчество которых питалось народным творчеством.

Было время, когда еврейские писатели презирали жаргон, „язык улицы и базара, язык кухарок и служанок". Даже Перец и Фруг клеймили этот „грубый, дикий и ужасный язык". И вот наступила эпоха возрождения, эпоха, когда „камень, который презрели строители, стал краеугольным", когда презираемый язык черни непросвещенной, „подлый язык" в древнерусском смысле этого слова, становится языком национальной литературы.

В русско-еврейской литературе выдвигается также ряд новых писателей: искренний и глубокоправдивый С. А. Ан-ский (Рапопорт), поверхностный обозреватель С. Ярошевский, вульгарно-остроумный Гершон-бен-Гершон, злой и едкий Г. Баданес, Ромбро, Пружанский, плодовитый и сентиментальный; поэты Абрамович, Минский, Фруг; критик „Восхода"— Волынский (Флексер); публицисты А. Е. Ландау, Criticus (С. М. Дубнов). Большинство писателей груп-

пируется вокруг „Восхода“—органа растущего протеста, органа, выдвинувшего на первый план борьбу за право.

Прежний обличительный тон отходит на второй план. Поэт-публицист Норд-Вест-Минский, ссылаясь на русских народников,—Григоровича, Успенского, Златовратского,—писавших для интеллигентных читателей, чтобы заставить их полюбить серую крестьянскую массу, указывает на произведения И. С. Тургенева и Н. А. Некрасова, посвященные ими *прославлению* или *оплакиванию* мужика. В этих примерах он видел указание и для еврейских писателей:

„Наша задача,—писал он в № 2 „Рассвета“ [1],—будет состоять в том, чтобы заставить еврейскую интеллигенцию полюбить еврейскую массу, для чего *и мы будем подмечать всякую светлую черту* еврейской жизни, способную вызвать сочувствие“.

Итак, цель художника—вызвать симпатию к бедствующему народу и сочувствие к его страданиям, средство—подчеркивание не темных, а светлых сторон, народническая идеализация. Эти черты с особенной силой сказались в поэзии С. Г. Фруга, в беллетристике Пружанского, Ан-ского, Ромбро, в публицистике „Рассвета“, печатавшего статьи М. И. Кулишера, М. Лилиенблюма, Норд-Оста, Пинскера, Л. О. Леванды, П. Смоленского.

Реакция 80-х годов с резко подчеркнутым антисемитизмом правительства и с равнодушным индифферентизмом, если хотите „асемитизмом“ русского общества, паническое бегство евреев от буйных погромов и от тихого погрома репрессий в Америку и Палестину—определили характер симпатий еврейской народолюбивой интеллигенции.

Если основной темой 40—50-х годов была тема: „*наполнение земли знанием*“, если с начала 50-х до конца 70-х годов на первом плане было *слияние и обрусение*, то теперь основная тема—*эмиграция*. Тема, которую горячо разрабатывают эмиграционисты и

[1]) 1879 г.

антиэмиграционисты, палестинофилы и антипалестинцы.

Сперва выдвигаются в этом вопросе практические цели, а затем культурно-национальные.

Тему о наполнении земли знанием выдвинула буржуазная интеллигенция, тему о слиянии выдвинул ассимилировавшийся слой еврейства, прошедший через русскую школу, дипломированное и привилегированное еврейство крупных центров, главным образом, Петрограда, тему об эмиграции выдвинула провинция, выдвинул сам народ, разоренный и бедствующий. Эту тему народ выдвинул и пред студентами и курсистками, еще недавно шедшими „в народ“ вместе с русскими революционерами, еще недавно уходившими от еврейского народа к русскому народу, эту тему сам народ поставил пред „Рассветом“, пред Л. О. Левандой, Пинскером, Лилиенблюмом, Фругом и другими. „*Эмиграция*“,—писали новороссийские студенты в „Рассвете“ в 1882 году,—*это—единственный исход из теперешнего тягостного положения,—исход продиктованный не интеллигенцией народу, а народом своим представителям*“.

Если столица взростила и взлелеяла идеал слияния, то теперь провинция, пережившая ужасы средневековья, в исходе из России увидела единственное разрешение еврейского вопроса.

Закипел спор между эмиграционистами провинции и антиэмиграционистами столиц. Эмиграционисты как американцы, так и палестинцы резко противопоставляли интересы бедствующей массы, спасение которой они видели в эмиграции, стремлениям благоденствующих „тузов“, „нотаблей“, „общинной олигархии“, „богачей-патриотов“, изъявлявших лойальность пред властью и спасавших свои насиженные теплые гнезда.

С одной стороны—разоренные, выбитые из колеи мелочные торговцы и ремесленники, учащаяся молодежь, с другой стороны—представители крупной буржуазии, дипломированной интеллигенции; с одной стороны—„Рассвет“, с другой стороны—„Русский Еврей“.

Историк еврейской общественности И. Сосис в богато-документированной статье „Период кризиса общественного течения в литературе 80-х годов“, напечатанной в „Еврейской Старине“ за 1916 г., вып. I, II, III, вполне определенно устанавливает это различие точек зрения по вопросу об эмиграции у различных груп: „Несомненно, — пишет он [1]), — *влияние погромов на имущие классы и народные массы было различно*: первые сравнительно быстро успели оправиться от материальных потрясений, массы же, вынесшие на своих плечах главную тяжесть разгрома (бедные кварталы оказались наиболее беззащитными во время погромов, напр., в Одессе, Киеве, Варшаве), большей частью *совершенно лишились своего экономического базиса*, который был расшатан серьезно еще до того кризиса. Кроме того еврейское общество, получившее некоторое расширение своих прав в эпоху великих реформ и воспользовавшееся наступившим тогда большим промышленным оживлением, продолжало еще лелеять некоторые надежды на равноправие. Народная же масса, *выбитая из своей прежней хозяйственной колеи именно этим усиленным темпом развития* и оставшаяся бесправной и после великих реформ, не питала никаких надежд на возможность улучшения своего положения в России. Необходимо еще отметить, что петербургское еврейство, к которому в период кризиса устремлены были взоры провинции, находилось в особенно благоприятных условиях не только в экономическом отношении, но и в смысле безопасности. Это был единственный еврейский уголок, на который не распространилась непосредственная погромная паника“.

Здесь, быть может, недостаточно подчеркнуто, что под народной массой, утратившей свой экономический базис во время погромов, а равно и при промышленном подъеме, надо разуметь не пролетариат еврейский, которому нечего было терять, а по преимуществу мелкую буржуазию.

---

[1]) „Еврейская Старина“. Вып. II—III, стр. 197—198.

Для этой массы настоящее было мучительно, будущее несло крушение, оставались иллюзии, оставались золотые сны, остался последний восторг, который шел на смену последнему отчаянию.

В черте зарождаются эмиграционные кружки, заражающие широкие круги своей самодеятельностью, своей бодрой верой в новую жизнь, в возрождение народа на новой родине.

Даже унылый Фруг на момент воодушевляется и поет в 1882 году восторженный марш исхода, сопровождая этот марш эпиграфом из Библии: „Скажи сынам Израиля—пусть идут". Обращаясь к родному народу, поникшему седой головой, остановившемуся посреди дороги с посохом в руках, поэт говорил:

Взгляни... Толпой к тебе твои вернулись дети...
Прими же их, и всей семьей сквозь строй народов и столетий,
Чрез бездну мук, чрез цепь невзгод ступай вперед,
Вперед—под звуки старой песни! Века грядущие зовут,
И громы нам кричат—воскресни!
И бури гимны нам поют.

Но отхлынули от родного берега первые волны эмигрантов, первые волны золотых грез о новой жизни, и уже через несколько недель принеслись к тому же берегу вопли и стоны и скорбные вести о величайших бедствиях эмигрантов. Громко молили о помощи погибающие...

Пред русско-еврейской литературой эмиграция выдвигает сперва практические вопросы, вопросы хозяйственные, материальные, а скоро встали вопросы национально-культурного значения.

Одни отстаивают перемещение центра внутри рассеяния, другие мечтают о собирании рассеянного народа и о возрождении национального центра в Палестине, в древнем Сионе. Американцы спорят с палестинцами.

Л. Пинскер в 1882 г. выпускает в Берлине на немецком языке брошюру „Автоэмансипация", в которой *гражданской* эмансипации противопоставляется *самоэмансипация*; он отстаивает воссоздание еврейского народа на его собственной территории, которая должна

быть приобретена в *каком - либо пригодном* месте. Л. Пинскер территориалист: для него центр вопроса в приобретении собственной *территории*.

Л. О. Леванда мечтает о *еврейской* почве, о Палестине и о самопомощи еврейского народа.

Палестинофильство захватывает просвещенцев первого периода и разочарованных ассимиляторов типа Сарина - Леванды.

В 1884 г. вышел в свет сборник „Палестина". В этом сборнике приняли горячее участие: недавний проповедник слияния и обрусения Л. О. Леванда, а на-ряду с ним Л. Пинскер, М. Лилиенблюм, А. Флексер (Волынский), П. Смоленскин, Ромбро и другие. Во всех статьях проснувшийся национализм граничил с отчаянием.

Разъясняя „сущность так называемого палестинского движения", Л. О. Леванда называл это движение *многознаменательным*. „Во имя этого движения братски подали друг другу руку ортодокс и радикал, прогрессист и ретроград, еврей de facto и еврей de jure, старец и юноша, капиталист и пролетарий". Он пишет о животворящей силе новой национальной идеи с такой же пылкостью, как прежде писал о животворящей силе идеи ассимиляции.

В движении из России в Палестину он видит прямой логический вывод из положений, всем известных и назревших, новый фазис в истории еврейского вопроса. Еврейский народ хочет пробовать счастья: новым способом взять с бою недающийся ему земледельческий труд,

Это движение связано с Палестиной, потому что только там, по мнению Л. О. Леванды, народ—дома, только стремясь обработать родное поле он не будет признан чужим.

Этим новым настроением проникнуты стихи поэтов, критические статьи Волынского-Флексера, переведшего нашумевшую статью Пинскера „Автоэмансипация".

„Надо, чтобы человеку было куда пойти",—говорил Мармеладов Раскольникову. Палестина была тем

местом, куда уносилась мечта бездомного народа. Это была романтика отчаяния.

В годы отчаянья и паники народолюбие принимает форму проповеди малых дел и филантропии и форму бескрылых мечтаний о жизни через 100 лет. Измученный, усталый, тоскующий еврейский интеллигент, еврейский „дядя Ваня" и еврейская Соня, мечтали о небе в алмазах; как чеховские герои, они говорили: „Давайте помечтаем" и уносились душой если не в Москву, то в Иерусалим... Эту мечту завещали пророки и поэты.

Вместе с Иегудой-бен-Галеви уносился современный мечтатель на крыльях орлиных от гонений и бедствий в родную когда-то страну, плача, повторяет вместе с ним: „О, если бы я мог целовать твою землю, твою пыль, как мед, сладкую для любящей души. На востоке мое сердце, сам я на границе запада"...

Когда-то любимый поэт Генриха Гейне—Галеви, создавший песнь свою из слез жемчужных, оставил единственную, любимую дочь, друзей, родину и из далекой Испании, с риском для жизни, отправился в Иерусалим. Рассказывают, что когда поэт, заливаясь слезами, пел на месте разрушенного Храма свои „Сиониды", его смертельно ранил араб, но певец вдохновенный был в таком экстазе, что не почувствовал боли и, кровью истекая, до последнего издыхания продолжал изливать свою душу в божественных стихах.

Для еврея-народолюбца, которого вычеркивали из живой *действительности*, легенда являлась последним прибежищем.

Были не только чеховские мечтатели, чеховские сестры, были самоотверженные студенты и курсистки: они оставляли университет, жертвовали будущностью и во имя святой идеи вместе с живым потоком уносились в синюю даль. Оживали жемчужные слезы Галеви.

Фруговские „Сиониды" вышли в девятисотых годах, в годы нового сионизма, но зародились они и выношены под сердцем в черные 80-е годы, в годы тоски и неволи.

Потом X. Зингер и поэт-сионист Л. Яффе, Маршак и друг. певцы Сиона, все те, кто по древней томились отчизне и заменяли родину миражем, выступили в 90-е годы и в девятисотые, но их песни Сиона тесно связаны с Сионидами восьмидесятых годов. Эти песни затихали в годы погромного затишья и вновь раздавались громко и властно, вновь заражали широкие круги в годы новых гонений. Гневная пророческая песня Бялика „Сказание о погроме" в пер. В. Жаботинского помечена 1903 годом, годом кишеневского погрома. Уроженец Волынской губ., выросший среди природы, Бялик воспитался на поэзии 80-х годов, на поэзии Фруга.

На всех этих песнях лежит печать отчаяния. Это понял будущий палестинофил Л. О. Леванда, когда еще в 1881 г. писал об устремлении в Палестину разоренных ремесленников, одержимых паникой, и кающихся ассимиляторов, измученных „милльонами терзаний". „Люди и события толкают нас в *царство теней*, так как мы признаны *„лишними"*, для которых на родине будто уж места нехватает, и мы стесняем *коренных*, которым уж будто негде повернуться. Пусть наши обстоятельства переменятся хоть сколько-нибудь к лучшему, пусть мы перестанем чувствовать, что почва горит под нами и исчезает из-под наших ног,—и мы уверены,—тот же мечтатель, который так живописно рисует пред нами картину самостоятельной Палестины—гальванизированной мумии, запоет вместе со многими русскими евреями: „Я—русский, и я люблю свой край".

Л. О. Леванда знал, что в основе палестинофильства лежала романтика отчаяния, которой и он скоро поддался, поверив в грядущее возрождение еврейского народа в Палестине, поверив с тоской и надрывом.

Мечта об Исходе родилась от сознанья безысходности, сказочная романтика родилась в ответ на беспросветную действительность, преклонение пред прошлым родилось из ненависти к настоящему.

Молодой поэт М. Абрамович прекрасно это отметил в своем ярком и глубоком стихотворении „Пале-

стина". Он выступает, как антиэмиграционист и антипалестинец, но выступает без победных литавров.

Он признается, что любит скользить воображеньем по стране руин, уноситься мечтой „в царство дивных грез", любит, „как ласточка в ветвях родной березы, петь песни знойные про пальмы и мимозы". Но он не успокоивается на этом. Он хочет быть борцом „дней *своих*", он—сын века *своего* и родины *своей*, которую он любит, „хотя измучен ей". „Россия в *будущем*, и в это верю я, как в то, что вся теперь в *минувшем* Палестина", — в этих словах ответ поэта-реалиста поэтам-романтикам. Поэты-реалисты смело смотрят в лицо суровой жизни: „и пусть минувшее влечет нас обольщая—*милее мне стократ действительность живая*".

Все несчастье поэта заключалось в том, что и он и его поколение не находили в проклятую эпоху 80-х годов в окружающей жизни живых творческих сил, не видели борцов за идеалы будущего. А эти творческие силы и эти борцы уже народились.

ГЛАВА X.

ЭПОХА ПОДЪЕМА.

Рабочая масса.—Бунд. „В новом русле"—Ан-ского.

В 90-е г.г. вместе с промышленным подъемом начинается широкое движение рабочих в промышленных центрах. Хмурость, апатию, уныние сменяют „сила гнева, пламя страсти и уверенность в победе", чеховскую „Чайку" сменяет горьковский „Буревестник", неврастеника Иванова—сильный и бодрый рабочий Нил, всегда готовый „вмешаться в самую гущу жизни".

Выступает целая плеяда русских художников, захваченных растущим подъемом: В. В. Вересаев, Максим Горький, Евгений Чириков, Скиталец... В. В. Вересаев говорит в своей интересной автобиографии о значении для его творчества пробуждения рабочей массы и в особенности великой петербургской стачки 96 года: „Кого не убеждала теория, того убедила она, и меня в том числе",—пишет художник. У молодежи, как у влюбленной Аси, „вырастали" крылья. В эти годы пишет В. В. Вересаев свою Наташу, героиню „Поветрия", „верующую, ожидающую". В. В. Короленко с радостью приветствует новое, бодрое поколение, идущее на смену и пишет: „Опять вера в жизнь и веяние живого духа". В это время интеллигенция нашла носителя своих заветных идеалов, героем ее романа явился рабочий класс.

Тот же подъем переживается и в черте оседлости. Толчком является борьба евреев-ремесленников, начиная с 1892 г., за 10-часовой рабочий день. Демократическая интеллигенция идет к рабочей массе и ставит пред собою задачу пробуждения национального

и классового самосознания... десять лет самоотверженной работы ее совершили чудо: парии из париев становятся пламенными Маккавеями.

В фундаментальном труде Отто Бауэра „Национальный вопрос и социал-демократия“ имеются любопытные строки о социальном пробуждении низших классов:

„Европа, — читаем мы, — с удивлением наблюдала тот переворот в умах еврейских рабочих, который начался с русской революцией: боязливый, смиренный еврей гетто превратился в героического борца великой революции. И эти массы не живут уже в инертной атмосфере традиционных переживаний: им нужна новая культура. Они сами начинают создавать эту культуру... Интеллигенция тоже начинает отдавать свои силы новому культурному движению; прежде она только насмехалась над неассимиллированным евреем, теперь она видит в нем эксплуатируемого пролетария и революционного борца. Она хочет знать его язык и учится ему, как чуждому языку, забыв его жаргон; она словом и пером служит еврейским массам“ (стр. 387).

Русско-еврейская литература не обращалась непосредственно к этим массам, но она не могла не отразить новых веяний, новых настроений, новых героев. Интересно отметить, что октябрьская книжка „Восхода“ за 1894 год была задержана за роман „Дети гетто“. По словам редактора-издателя А. Е. Ландау из этого романа „пришлось выкинуть несколько страниц—*социалистические речи на митинге рабочих*“ („Еврейская Старина“, 1916 г., вып. I, стр. 116, из писем А. Е. Ландау).

Если 60-е г.г. выдвинули на первый план интеллигенцию, если в конце 70-х г.г. и в начале 80-х г.г. заговорили о „бедствующем народе“, то теперь в центре внимания еврейская окраина, рабочая слободка, борющаяся, эксплоатируемая масса, еврейская беднота.

Нет единого народа. На первый план выступают социальные противоречия, резко проводится грань между евреем-предпринимателем и евреем-рабочим.

„Такого времени я не запомню, чтобы *еврей шел против еврея*. Этого никогда не было,—говорит старый, патриархальный, забитый еврей Эрш в драме С. Юшкевича „Король“.

Этого не было, но это пришло...

Ярко рисуется картина „*Распада*“ буржуазной семьи и преображение рабочей семьи, зарождается новая жизнь „*в новом русле*“. С невиданной прежде отчетливостью бросаются в глаза контрасты большого города. „*В городе*“ обостряется нищета, растет проституция, царит „*Голод*“, и там же в городе разгорается дух возмущения в сердце еврея-революционера, в душе мятежной массы. Старый, покорный, уходящий от жизни в молитвенник еврей сталкивается лицом к лицу с юным, гневным, протестующим евреем против самодовольного властителя, „*Короля*“, идет беспокойная масса.

Напрасно ветхозаветные евреи поднимают свою древнюю книгу, их не слушают молодые, у них своя новая книга. В драме С. Юшкевича „Голод“ шестидесятилетний сторож Сем, всегда покорный, всегда с молитвенником в руках, говорит, указывая на молодого рабочего Габая:

— Вот враги народа. Сюда не смотрят (указывает на книгу). Зачем им?

— А что сказано в вашей книге нужного людям?

— Покорись, вот что сказано!

— Ага! А в моих сказано: *борись*!

Уже в романе С. Ярошевского „Выходцы из Межеполя“ (1894 г.) отмечался необычайно быстрый темп жизни. За какие-нибудь 10—15 лет физиономия городка, мимо которого прошла железная дорога, так изменилась, что старый просвещенец Ригель никого не узнает: и лица, и костюмы, и разговоры другие. „Даже старая синагога как будто приняла другую физиономию и не смотрела уже так сурово, как прежде“.

В 90-е годы этот процесс идет ускоренным темпом...

Остались одни руины от старой ограды, одряхлели, обессилели когда-то грозные защитники.

На смену старому еврейству идет молодое поколение, поднимаются низы, выдвигают социальную проблему; на смену певцу, поющему свои Сиониды на развалинах древнего Храма, приходят апостолы социальной справедливости.

В конце 90-х г.г., в половине 900-х выступили молодые художники—представители одного поколения: Семен Юшкевич из Одессы (род. в 1868 г.), Д. Айзман из Николаева (в 1869 г.), Н. М. Осипович из Очакова (род. в 1870 г. в семье рыбака) и позднее появились: Д. Рывкин, А. Кипен, Наумов-Коган, автор интересного очерка „В глухом местечке". В то же время продолжает свою ценную работу С. А. Ан-ский, творчество которого развивается на рубеже двух периодов.

Если наиболее ярким выразителем эпохи просветителей был Рабинович, апостолом ассимиляции и обрусения был Л. О. Леванда, певцом националистов, призывавших „Домой", был поэт Фруг, то борцом против социальной несправедливости явился *социальный* художник Семен Юшкевич, пропевший „великую песнь грозной нищеты".

Из всех перечисленных мною художников тонкий, изящный, эстетически чуткий А. Кипен только мимоходом изображает жизнь еврейского народа и вносит особенное настроение. Он не жалуется, не стонет, не кричит и не скорбит. Он созерцает жизнь и любуется природой, и даже его герой, еврей „Ливерант", неотделим от степи, от вольных полей, хотя и гонят его всю жизнь „на родину", в черту оседлости. Он влюблен в пейзаж и краски жизни, как настоящий художник. Этот писатель, поэтически воспринимающий жизнь, пейзажист, охотник, точно вышел из дворянского гнезда, а не из еврейского гетто. „О тут моя родина, у степу. От моя родина", — говорит еврей-„ливерант", и невольно кажется, что и родина художника тоже—„о тут, у степу".

А. Кипен также отметил растущую борьбу между собственником и неимущим, но не в городе, а пред лицом моря и леса, неисчислимые богатства которых присвоил человек („Бирючий остров", „Лес").

Он изображает „господскую жизнь“ и жизнь браконьеров. От всех его образов веет свежестью и какою-то легкостью. Безукоризненный язык, изящная манера письма, отсутствие рассудочности сказываются в каждом его рассказе.

Тонкий психологический очерк „Меер“ наиболее близко подходит к темам русско-еврейской литературы. Этот Меер—безногий калека, голодный и бездольный еврей, но расположение его духа, „по обыкновению, прекрасное“. Он вечно крутится, острит, спорит, решает мировые вопросы и всюду вмешивается. Он „всякого может полюбить“. Невольно любишь эту живую, мятущуюся душу, это открытое всему миру сердце. Безногий калека умирает на больничной койке, но от смерти этой веет не тоской, а радостной верой в человека.

Когда после А. Кипена читаешь печальные рассказы М. Д. Рывкина в сборнике под общим заглавием „В духоте“ (1905), точно попадаешь из леса, из степи в тесное помещение, куда не заглядывает солнце. Его любимая тема: опустевшая синагога, руины прошлого, где бродят тени и призраки, и откуда ушла, отлетела живая жизнь.

В перекосившееся окошко заброшенной синагоги жалобно стучится притихшая одинокая березка. Холодные крупные капли тяжело падают с ее оголенных веток прямо на тусклые позеленевшие окна... Таинственный шопот березы аккомпанирует всем этим элегическим стихотворениям в прозе... Лирически настроенный автор-романтик говорит свое „прости“ поэзии прошлого. То, что возмущало разрушителей ограды, затихло, умерло, оделось плющем и повиликой и рисуется в поэтической дымке. Старая синагога, старый сторож, верный до гроба, старые березы точно покоятся тихим сном на кладбище, и художник-поэт кладет на могилу былого скромный венок свои грустные элегии в маленькой книжке.

Ближе к новой жизни, к новым настроениям и новым людям подошли С. А. Ан-ский, Д. Я. Айзман, С. Юшкевич.

С. А. Ан-ский, бывший секретарь Лаврова, ученик Г. И. Успенского—беллетрист народнической школы, школы художников-аскетов, общественников. Он близко стоял к народническому „Русскому Богатству". Он дал правдивую, объективно написанную картину рабочего движения и пробуждения рабочей слободки. Это художник, девизом которого могут быть слова: „Не плакать, не смеяться, а понимать". Строитель новой культуры, он постоянно изучает перерождающиеся формы жизни, прислушивается, всматривается, хочет понять, что к чему, понять прежде всего для себя и для работы всей своей жизни. Для всякого, кто хочет почувствовать душу эпохи, важно прочесть повесть его „В новом русле", посвященную новому периоду. К ней как бы постепенно подготовляют более ранние его произведения. С. А. Ан-ский начал писать в 80-х г.г. В его небольшом рассказе „Пасынки" (1881 г.) уже вполне определился его глубокий искренний демократизм и его простая манера писать. В изображении жизни его всегда интересует динамика. Ему удалось в эпоху безвременья удержаться от мрачного пессимизма и националистической истерики. Это писатель с большой выдержкой и редким уменьем разбираться в общественных настроениях. За 40 лет неутомимой работы над созданием новой культуры этот лучший представитель нового еврейства дает богатейший материал для самого серьезного знакомства с историей еврейской общественности. Это правдивый свидетель того, что еврейский народ пережил за 40 лет. На его показания можно ссылаться. Критик „Русского Богатства" Горнфельд, литературный обозреватель в органах русско-еврейской печати, писал об С. А. Ан-ском в № 4 недельной хроники „Восхода":

„Он так правдив и независим, что влиятельный русский журнал, во главе которого стоит один из самых выдающихся наших писателей, чисто русский, но не антисемит,—не решился напечатать один рассказ Ан-ского из боязни повредить этим евреям. Другой рассказ по тем же причинам был отвергнут. Он мог появиться только в еврейском органе".

На-ряду с отмеченной правдивостью-независимостью С. Ан-ский обладает богатым жизненным опытом и уменьем разбираться в пережитом. Он близко подходит к своему учителю Г. И. Успенскому, умевшему почувствовать динамику общественных отношений. Своим творчеством он как бы объединяет две эпохи, два периода: период, когда Милославка пережила „первую брешь“ и период, когда жизнь ее попала в „новое русло“. Его творчество не голая антитеза недавнему прошлому, а попытка найти синтез.

Повесть „В новом русле“ дает богатый, объективно освещенный материал, характеризующий новый период. Эта повесть написана в 1906 году и рисует жизнь еврейской слободки.

В центре повести—семья старухи Эстер-„species бобоноски“. Ее старшая дочь—работница Бася, играет видную роль в „организации“, а младшая Мирл, тоже работница, все спрашивает Басю, когда она ей „даст кусок агитации“.

С большим знанием, захватывающе интересно обрисована жизнь еврейского городка с его рабочей „биржей“, базаром, суетой, с его „организацией“. Проходит ряд типов: тут и старуха-мать, которая перерождается под влиянием дочерей, интеллигенты-пропагандисты, рабочие-агитаторы, профессионалы-революционеры, массовки, старые работники Бунда и юные двенадцатилетние, восторженные и бесстрашные борцы „малого бунда“ с милым мальчиком Гиршлем во главе.

С редкой мягкостью и теплотой, больше того—с любовью и лаской обрисованы отношения отцов и детей. Умирающий отец нелегального Матвея, мать Баси благословляют подвиг своих детей. „Организация“ уже стала властительницей дум и чувств еврейской бедноты. Матери Баси „казалось странным и непонятным, как и откуда явился этот совершенно новый мир с новыми людьми, у которых такие прямые спины, такие смелые взгляды, такие решительные речи“ (т. IV, 206 стр.). Пред умственным взором Эстер

воскресает недавнее прошлое, когда впервые появились эти новые люди.

„Слободка испугалась появления новой молодежи особенным испугом, огромным, всеобъемлющим. Испугалась за самую молодежь, которая пошла в огонь, на верную гибель, испугалась и за себя, что эта отчаянная молодежь своим громким голосом выдаст ее, притаившуюся в своих пещерах и норках; что она своими безумно дерзкими речами разгневает, приведет в ярость все вражеские силы, которые до сих пор встречали со стороны слободки только приниженные речи, льстивые поклоны, стоны, слезы и мольбу. Испугалась она, наконец, и, может быть, больше всего самой этой молодежи, которая сбросила с себя ярмо, отвергла все старые верования и традиции, все, в чем старое поколение черпало силы для жизни. В молодежи оно сразу почуяло силу—и по одному этому предположила в ней нового врага... К старому аду надежды и голода прибавились новые муки, новые драмы.

„Началась борьба двух поколений—отцов и детей... Но молодежь не поддавалась ни мольбе, ни угрозам и твердо шла своим путем. И привыкли... Старики все с меньшим ужасом стали относиться к обыскам, арестам и ссылкам... Наконец, слободка увидела, что вышедшая из ее недр сильная молодежь не отшатнулась от нее, не набросилась с жадностью и наглостью вражеской силы... Слободка убедилась, что молодежь выступала именно в ее защиту. И убедившись в этом, всей своей истомленной душой потянулась к новой силе и понесла ей свою великую скорбь, свою нужду, обиды и горе. И слободка, изболевшая и истерзанная, признала над собой власть детей, стала гордиться ими, стала повторять их речи, радоваться их радостями, отчаяваться их горем. Постепенно она начала проникаться ее глубокой верой в светлое будущее“ (т. IV, 209 стр.).

Когда Эстер-мать думает о детях, ее сердце полно материнской гордости и счастья. Эта старуха—символ воскресающей слободки.

ГЛАВА XI.

Герои и толпа. Д. Айзман и Семен Юшкевич.

Новых людей рисует и Семен Юшкевич и Д. Я. Айзман. Эти новые люди—рабочие. В своих драмах и повестях С. Юшкевич намечает схематично и бегло типы таких людей. Своих героев рисует на фоне крупного торгово-промышленного центра. Если Наумов-Коган, Ярошевский, Ромбро знакомят нас с жизнью „В глухом местечке", с жизнью еврея-*провинциала*, то Юшкевич изучает типы большого шумного города, стирающего провинциальные черты.

Вот сапожник Шлойма—окраинный пророк. Он говорит свои речи с странным припевом. Он вечно призывает „*соединимся...* и скажем: нищеты не должно быть", он не говорит, а поет „песнь о *единении* („Евреи").

Вот сознательный рабочий Давид в той же повести. Три года тому назад его сняли с петли, а теперь он полон огромной веры в торжество справедливости и в рабочий класс... С упорной складкой на лбу ведет он свою работу. Его лозунг—„*Соберемся*".

Вот мечтатель-юноша Эли, вечно склоняющийся над новыми книгами. Глядя на жителей окраины, он думает: „Этим—мое сердце, этим—мои силы" („Эли", т. V, стр. 272).

Вот рабочий с мельницы Гросмана—Мирон. Он говорит своему старому, забитому, покорному отцу-портному Эршлу, который шьет на богача Гросмана: „В нашей борьбе нет ни русских, ни евреев, а есть рабочие и эксплоататоры" („Король", 45).

А вот, наконец, молодой рабочий с мебельной фабрики Габай, решительный и смелый и бесстрашный враг города. Указывая на окраину, он говорит: „Если существует вот это, то *надо жить с волею народа*, надо, чтобы сердце всегда было с ним. Пока враг не

сломлен—не о чем другом думать“ („Голод“). Со своими книгами Габай такой же фанатик идеи, как и ветхозаветный Сем со своим молитвенником.

Отличительные черты всех этих новых людей: пламенный гнев и пламенная вера в силу рабочей массы, бодрость, сила, решительность и страстная жажда учиться. Если у старых евреев—древняя Книга, если у просветителей—еретические книжечки, то у новых людей—революционные, социалистические книжки.

Оба художника также отмечают победу молодых. В очерке С. Ю. „Эли“ старый столяр Фавл с серьезным и печальным лицом всю жизнь работал в душной мастерской, к чему все это, он не понимал и „радовался тому лишь, что в мире живет юноша Эли, его сын Эли“. Мать этого юноши, хромая Эстер с тихими и мягкими глазами, обведенными морщинками, любила беззаветно и нежно и отца и сына. И она и Фавл относились с благоговением к тому, что читал по целым ночам их сын. И верили они, что юноша Эли „освободит живых мертвецов“... Он вечно бодрствует, учится, остается „с глазу на глаз с загадочной маской, закрывающей прекрасное лицо жизни, он видит два образа: насильников и замученных“ (т. V—225).

Весь день, сгибаясь над токарным станком, Эли заполнен „думами о людях и о том, как сделать их счастливыми“. Он уйдет из дома „к людям черным от скорби, к людям черным от горя“, и они пойдут за ним. А мать и отец благословляют его.

„Он прав,—с отчаянием говорит Фавл,—он прав“.

„А кто вернет мне сыночка? Кто? За все блаженства я не отдам волоса с его головы. Вот тот, кто стоит наверху, смотрит на нас. Спроси его, что он скажет матери“.

— „Он скажет: отдай его. Клянусь. Что сердце одной матери пред страданьями всех матерей? Что ее слезы?“ (т. V, стр. 281).

У художников этого периода особенно нежные и красивые, идущие прямо из сердца слова, когда го-

ворят они о матерях, отцах, безропотно отдающих детей на великую борьбу за брата человека.

Ужасна Дина, посылающая дочь в публичный дом; прекрасна Эстер, благословляющая на подвиг родное дитя.

У прежних художников отцы и дети борятся и часто побеждает деспот-отец,—у новых художников „отцы“ склоняют голову пред правдой „детей“.

К той же теме подходит и Д. Я. Айзман, старший брат которого, владелец библиотеки в Николаеве, был сослан в 80-е г.г. в Сибирь по народовольческому делу.

Этот писатель часто портит свои вещи выкриками. К его творчеству эти выкрики так не подходят. Но есть у него драма („Терновый куст“), к которой идет повышенный тон, и в которой чувствуется глубокая взволнованность автора. Если у Юшкевича в центре—*масса*, то у Айзмана—*герой*-мститель, террорист.

Д. Я. Айзман рисует рабочего еврея, мстителя за угнетенных. Он встает пред вами, окруженный ореолом героизма и с печатью обреченности на лице.

„Тут громко надо, с силой! Надо во весь голос, чтобы аж дрожали все. А если тихо: мя-мя-мя, так, ей-богу, лучше не надо совсем“,—говорит братишка Мануса радикальничающему сыну фабриканта.

Драма Д. Я. А. написана с силой во весь голос, и некоторые сцены заставляют сильнее биться сердце.

Все угнетенные тянутся к смелому борцу, даже мать после казни сына с глубокой верой говорит: „Терновый куст потушить нельзя“. Отец Мануса, старый лудильщик, тоже понял, что „зажегся мир со всех концов“.

Трусливому и наглому фабриканту Когану, безвольный сын которого на время поддался духу времени, отец Мануса рассказывает о Моисее и о терновом кусте, который тот увидел на горе Хорив. Куст горел и не сгорел. Моисей подошел и убедился, что в терновнике—бог.

И теперь терновый куст горит огнем. И куст не сгорает и в нем—возмущенный дух угнетенного на-

рода. И не сгорит терновый куст и не уйдет возмущенный дух, не уйдет бог, пока гнет и насилие не будут побеждены.

Отец Мануса доволен и рад всему, что делается, но в сердце у него темно. Он слишком мучительно чувствует надрывающие душу слова жены: „Ох, мои бедные дети". Знает он прекрасно, что новый мир будет куплен дорогою ценою. Когда казнят его сына где-то на севере, он сходит с ума и ему порой кажется, что он слышит ветер с севера.

В рассказе Д. Я. Айзмана „Ледоход" седой еврей с тоской и болью прислушивается к гневным речам своего сына, вернувшегося из Сибири, и к пламенной проповеди чахоточной дочери-сионистки.

„Я не знаю, кто из них прав: Яков или Соня, но"...

Он поднял кулак и сделал такой жест, как если бы забивал гвоздь.

„Пусть они идут! Пусть они идут!"—с силой сказал он и отвернулся (т. II, стр 40).

Отец и даже мать примирились, что их дети не *их* дети... „Нет детей... Нет детей... Нет детей"...— шепчут старческие губы.

Дети старого Калмана („Домой") разбрелись в разные стороны. Дочь брошена куда-то в Туруханский край, жена сошла с ума во время погрома и знает лишь одно слово „домой", один его сын, разочаровавшийся в революции, мечтает после погромов эмигрировать в Америку, другой сын возвращается из Америки „домой". Отец прислушивается к их спору и понимает, что каждый из них ищет свое „домой". А если бы перестали искать, перестали и жить...

„Завтра пароход, Симон! Утром! Поезжай утром, поезжай" (т. II, стр. 318).

Беллетристы-шестидесятники выступили горячими обличителями темной массы, восьмидесятники отмечали всякую светлую черту еврейской жизни, оплакивали и восхваляли бедствующий народ. Беллетристы 90-х годов, подобно юноше Эли, „видят два образа: насильников и замученных"; одних обличают, клей-

мят, других восхваляют и оплакивают. Любимые герои Д. Я. Айзмана - это — бедняки и труженики: лудильщик Симон, маляр Мотька, голодный извозчик Лейзер, сиротка-Симочка, бедняк-сторож народного университета в Париже („Саван“, „Враги“, „Чета Красовицких“, „История одного преступления“, „Мечты“, „Союзники“, „Немножечко в сторону“, „Горе“).

Всем этим мечтателям, идеалистам, борцам часто в одном и том же рассказе резко противопоставлены богатые и сытые, которых художник ненавидит вместе с любимым героем. Фигуры этих самодовольных, грубых, нечутких людей обычно написаны каррикатурно и торжественно.

Это не простое обличение.

У Семена Юшкевича излюбленные герои—тоже люди неустанного труда и невыносимых страданий. Пересмотрите перечень действующих лиц в его драмах: „Голод“, „Король“, „Мизерере“, прочтите его повести „Еврей“, „Ита Гайне“, „Человек“, „Портной“, и пред вами проходят вереницей работники и работницы с мельницы, с табачной фабрики, портные, сапожники, швеи, кормилицы. Пройдут голодные обитатели окраины, измученные жильцы бесконечных дворов и грязных коморок, переполненных стонами и проклятиями... Над всеми этими нарами и дырами возвышается город, „который, подобно чудовищному насосу“, высасывает из окраины „все, что можно взять у человека: силу и мощь, размах души и претворяет все это в пышное расцветание“ („Еврей“—14 стр.).

Лучшие девушки сжигают свои крылья в огне города, уходят в „эти дома“ из отвратительных коморок, порой сами матери, как Дина „В городе“, в ужасе пред нищетой разменивают дочерей на золото. „Знаешь, сколько наших девушек в домах?—говорит Шлойма Нахману:—половина! Где город набирает девушек для улицы. У нас! Только у нас! Ты со мною не спорь. Я прожил 60 лет и знаю, что такое нищета“ („Еврей“—36 стр.).

Вся симпатия художника на стороне измученных каторжной работой людей, и вся его ненависть на-

правлена против тех, кто создает и оправдывает этот гнет, кто на труде других строит свое благополучие.

У С. Юшкевича, как и у Д. Айзмана, ведут непримиримую борьбу бедняки-евреи против богачей-евреев. И сам художник хочет участвовать в этой борьбе. Конечно, здесь и речи не может быть о какой-либо объективности.

Резкий обличительный тон С. Юшкевича вызвал недовольство среди представителей еврейской буржуазии. Когда в Киеве он ставил „Комедию брака", где еврейская буржуазия была представлена в грубо карикатурном виде, художник жаловался на то, что властный голос еврейского общественного мнения требует от него, чтобы он занимался „кустарным производством рядовых евреев". Художник горячо отстаивал требования чистого искусства и говорил, „что благо самого народа и в искусстве требует только правды, только правды, неустанной правды". Не в первый раз выдвигаются обвинения против художников-обличителей. Совсем недавно эти обвинения были выдвинуты против Андрея Соболя, и он отвечал письмом, защищая там требования художественности.

С. Юшкевич и Д. Я. Айзман воплотили в своем творчестве социальные контрасты. В их творчестве, с одной стороны, много красной, а порою и розовой краски, а с другой стороны, черной. Если шестидесятники обличали, то они клеймят.

Талант Д. Я. Айзмана разнообразнее таланта С. Юшкевича. Сила его проявляется вовсе не там, где он, подобно министру герцога Варнавы („Искупление"), „делает доклады о воплях" и пишет рассказы, посвященные ужасам „черных дней" („Сердце бытия", „Кровавый разлив").

Лучшие его произведения проникнуты юмором, иногда несколько грубоватым лиризмом и теплотой („Земляки", „На чужбине", „Домой"). В этих лучших рассказах Д. Я. Айзман с большой силой передает чувства любви к родине.

В последних своих произведениях он уходит все дальше от еврейского быта и все чаще посвящает свои силы заграничной жизни („На чужбине", „Богема"), а в своих больших повестях „Без неба", „После бури" он пытается, подобно И. С. Тургеневу, откликаться на современность и изображать русскую жизнь и переживания русской интелигенции после революции, „после бури". Ничего яркого ему не удалось сказать в этих последних произведениях. Любимые его герои этого периода—представители богемы, главным образом, художники, жизнь которых он знает, так как сам одно время занимался живописью и учился в Париже. Его пейзажи напоминают выставки петербургских художников. Прочтешь и не запомнишь. Читатели любят и знают Д. Я. Айзмана. Он популярен. Даже юдофобское „Новое Время" посвятило ему хвалебные статьи и называет его „*русским* Чеховым". Д. Я. Айзман не находится под влиянием одного определенного русского писателя, у него найдете и чеховские мотивы („История одного преступления", „Мечты", „Как мы наелись") и тургеневские („После бури", „Без неба") и горьковские—драма „Жены"... Некоторые веселые его разсказы напоминают Антошу Чехонте: только там, где у Антоши Чехова *чуть-чуть*, там у Д. Я. Айзман *чересчур*.

Во всяком случае, влияние русских писателей не заслоняет индивидуальности художника там, где у него *своя* тема.

В русско-еврейской литературе ему принадлежит видное место. Это не первоклассный талант, но это настоящий художник.

В своем творчестве он далеко не использовал все краски своей палитры. В его драме „Терновый куст". Дора уходит в революцию, будучи очень тихим человеком. Жестокая русская жизнь заставляет ее оттолкнуть все цветы и отдаться одному цвету. А она любит дремлющее озеро в вечерний час, тихий говор недавно родившихся листьев... Волнует ее нежным волненьем все кроткое, все сдержанное, тонкое... Наливается душа ее печалью, и ее сердце все благо-

словляет. Но действительность хочет борьбы и жертв, и девушка верна красному.

Д. Я. Айзман тоже любит дремлющее озеро, и тоже верен красному в своем творчестве.

Если новые люди С. Юшкевича говорят о единении, то его герои идут на единоличный подвиг („Терновый куст“, „Кровавый разлив“, „Искупление“).

У С. Юшкевича совершенно иной темперамент, иная лирика. У него, как и у героев, „толпа в душе“. С его стихийным талантом, лишенным всякой интимности, с его особенной манерой кричать, точно на площади, с его особенным, размашистым, хочется сказать, митинговым стилем, с его вечной темой о городе, он явился истинным художником большого города. В его творчестве встает „улица грозная, улица красная“.

В его голосе нет вибраций, в его творчестве нет оттенков.

На его больших полотнах мало законченных, запоминаемых лиц, зато встают с необычайной яркостью лики Города, Нищеты, Голода, Царицы и рабыни города—проститутки. Его образы—огромные обобщения. Его задача—дать общую картину человеческих, вернее—нечеловеческих мук, написать божественную комедию современности с ее адом, создать настроение, заставить прислушаться к проклятиям и стонам и воплям, которые несутся из жилищ-склепов, он хочет измучить, потрясти.

Это—художник-агитатор. Он пишет свои произведения (разумеется, мы не имеем в виду его бесвкусный, никому ненужный, отталкивающий роман Леон Дрей) так же, как его Давид говорил речи:

„Как из темноты выходила грязная, вооруженная всеми орудиями неправды и кулака победительная сила богатства, и в комнате пронеслись стоны полураздавленных жизней: то кричали мужчины и женщины, старики и старухи, подростки и дети... как отбросы ненужные и ненавистные, замученные, выбрасывались они из жизни, и их стоны и жалобы никого не трогали... Но вот Давид говорит о рабочих.

„Опять радостно и победно зазвучал его голос. *Как клич раздавались его слова.* Со всех сторон: из домов, из лачуг, из фабрик, из заводов показались рабочие. Они выступали еще медленно, они испуганно озирались, они колебались... И они выходили смелее, их лица одушевлялись, они выстраивались в могучие ряды“ („Евреи“, 142).

На огненном фоне выступают отдельные фигуры, как силуэты, как схемы, как типы. Чаще слышатся стоны и проклятия, чем радостный и победный голос. Каждый из героев дает свой ответ на ужасы нищеты. Один поднимает молитвенник, другой славит страдание, третий зовет „домой“, тот уклоняется и отходит в сторонку или прячет голову под крыло веры или стремится в далекий блестящий город в Европе, этот страстно ищет выхода, а рядом с ним—апостол братства. Среди этих „путешествующих, недугующих, страждующих, плененных“, только немногие, как Ита Гайне („Ита Гайне“), богач Гросман („Король“), отец Розенов („Распад“), мать, продающая дочерей (Дина—„В городе“) запоминаются. Обычно вы лишь мучительно чувствуете общее, гнетущее вас, как кошмар.

С. Юшкевич—художник, по преимуществу, *отрицательных* сторон города. Его сила не в изображении светлого и радостного, а в изображении нечеловеческой муки. Он действительно *пропел* грозную песнь нищеты. В этой песне особый ритм, повторения, странный припев. Но в изображении ужасов современного строя он не знает чувства меры. Он не умеет и не хочет во-время остановиться—и гвоздит, и гвоздит читателя, буквально выматывает душу и вместо того, чтобы потрясать, порой только утомляет и своими же руками разрушает созданное впечатление. „Довольно, Шлойме, довольно, я умоляю“,—стонет вместе с его героем Нахманом читатель... Но Шлойма неумолим, как и Семен Юшкевич: он ведет читателя еще и еще из одной коморки в другую, от одного калеки, от одного умирающего к другому, третьему, десятому—без конца. Несчастную мать Иту

Гайне, которая идет в кормилицы и должна сбыть ребенка, он ведет из одной избы в другую.

„Везде грозный бог наказания и мщения проявлялся в *одинаковых формах*. Полусгнившие лица, искривленные тела, загаженные глаза, тщедушность, маловескость и миниатюрность младенцев, жалобы и вопли детских ртов, голод, холод, грязь и полнейшее равнодушие людей— *всюду и везде было одно и то же*“ (т. I, стр. 294). И хотя всюду и везде одно и то же, и хотя читатель давно уже подавлен ужасом и почувствовал, С. Юшкевич продолжает его бить по нервам и бьет до бесчувствия, до того, что он перестает чувствовать и пропускает страницы.

Его зовут художником „Распада“. Но распад семьи, который он изобразил в одном из первых своих произведений и к которому не раз возвращался, не *основная* его тема. Распад семьи совершается у него на фоне общего социального неустройства.

Юный сын разорившегося Розенова, готового для спасения семьи пойти на поджог, знает, что нельзя избежать распада, и знает почему. Покидая дом отца, чтобы бороться против социальной несправеливости, уходя к обездоленному люду, он пишет отцу:

„Настоящая семья всегда носила в себе зародыши распадения. и ее идеалы, внушаемые детям, только углубляли эту пропасть. Если они еще не погибли, то начинают уже погибать. Есть одно спасенье от этого разгрома—ты его не захочешь, это—работа для народа“ (I, стр. 111). В другом месте письма уходящий сын еще резче подчеркивает связь распада с семьей, с общим неустройством: „Семья, отец, распадается, и никакие силы не могут помешать этому. Старое здание, которое держится на сгнивших столбах, неизбежно должно распасться; то же произойдет в современной семье. Мы с тобой очутились в периоде распада, и нужно покориться“ (т. I, стр. 105).

Заслуга С. Юшкевича в том, что он показал всю гниль, всю мерзость запустения в старом здании, весь ужас социальной несправедливости. Некоторые страницы его книг (конец „Иты Гайне“, конец „Евреев“) производят потрясающее впечатление.

ГЛАВА XII.

Погромы. Новый исход. Тюрьма и ссылка. Ан-ский. Айзман. Рывкин. Осипович.

Была еще одна тема, к которой подошли художники и публицисты. Это тема о „кровавом дожде“ и „кровавом разливе“ в черные дни после 1905 г., когда только за *двенадцать* октябрьских дней произошло 690 погромов, было убито свыше 800 евреев, было разграблено имущество свыше 200.000 человек.

На эту тему пишут: С. А. Ан-ский („Жертва вечерняя“, „Погромные впечатления“), Семен Юшкевич („Еврей“, „Панорама“, „Отче наш“), Д. Н. Айзман („Сердце бытия“, „Крсвавый разлив“, „Чета Красовицких“, „Земляки“, „На чужбине“, „Домой“), Н. М. Осипович („Фейгеле“, „Охота“, „За что“), М. Рывкин („Поруганная святыня“), Дерман, Жаботинский. Но ни одно из этих произведений не может сравниться с потрясающим душу произведением Бялика (в переводе Жаботинского с древне-еврейского) „Сказание о погроме“ (1903 г.).

Трудно художнику *рассказывать* об ужасе Варфоломеевских ночей, об ужасах средневековья, вызывающих глубочайшее презрение к вдохновителям и организаторам их... Нет человеческих слов, чтобы достойно заклеймить эту нечеловеческую гнусность. Но еврейский художник не мог молчать.

С. А. Ан-ский, приехавший в Белосток тотчас после погрома, рассказывает, что когда там люди, пережившие ужас безмолвия, вышли на улицу, увидели людей и почувствовали возможность *„апеллировать к человеку“*, то стали делать это с лихорадочной поспешностью, „точно стараясь убедить себя, что человек еще жив, что человеческий голос может еще найти отклик в сердце другого человека“ (т. IV, стр. 240).

То, что написано художником о погромах, это — *апелляция к человеку*. Во всех этих очерках и рассказах хочется отметить одну черту: нет чувства полной растерянности и безвыходности, так ярко проявившихся в 80-е годы. Д. Я. Айзман в „Кровавом разливе“ отмечает и еще одну черту: выступление лучших русских людей на защиту несчастных жертв и мучеников. Ан-ский посвящает такому самоотверженному защитнику очерк „Жертва вечерняя“.

Надо еще отметить выступление многих русских художников (Вл. Короленко, М. Горький, Леонид Андреев, Елпатьевский, Серафимович, Ив. Бунин) в черные дни гонений... Выступали и рабочие... Но все это были слишком раздробленные, единоличные выступления, молчали массы, а они должны были заговорить.

Это молчание массы отмечает С. Юшкевич в своей повести „Евреи“ с невольной и понятной горечью.

На погромы 1903 — 1905 года евреи снова ответили эмиграцией. С 1881 г. до наших дней эмигрировало из России свыше $1\frac{1}{2}$ миллиона. Снова возродился сионизм, снова зазвучали песни Сиона. Творчество поэта Яффе, горячего искреннего сиониста, всецело проникнуто мечтой о Сионе. Эти „новые песни Сиона“ родились „в час предрассветный в тисках непогоды и тьмы“, эти новые песни, как и прежние песни ранних палестинцев,—все тот же „отзвук, рожденный у древних руин“.

Деятельной и горячей любовью к Сиону проникнута страстная, гневная, темпераментная публицистика В. Жаботинского, блестящая по форме и яркая по языку. Благодаря В. Жаботинскому, русская интеллигенция познакомилась с пламенной поэзией Бялика, который на древне-еврейском языке позвал родной народ в Палестину.

В 1917 году поэт Л. Б. Яффе выпустил сборник „У рек вавилонских“. В этом сборнике он собрал яркие образы национальной еврейской лирики в мировой поэзии, воплотившие мечту о Сионе.

Годы борьбы на ряду с погромами вызвали целый ряд тяжелых кар на поколение 90—900 г. г. Ссылкой

и тюрьмой ответило правительство на движение рабочих и передовой интеллигенции.

Н. М. Осипович, прошедший через тюрьму и ссылку, выдвинул эту тему и разработал ее в ряде очерков. У этого художника нет яркого дарования Серошевского, но годы скитальчества доставили ему богатый материал. Это очевидец-свидетель, живой, темпераментный с общественной жилкой.

Его герои—протестанты, идеалисты, мечтатели обрисованы бледно, эскизно, портретно и несколько шумно, но все они будят человека в человеке. Интересно и живо написаны его „Дамка", „Средь шумного бала", „Homo sum". Захватывает местами его роман из жизни еврейских интеллигентов - бездомников „Натан Маймон". Главный герой его находится под влиянием Л. Н. Толстого. Слишком только много он разговаривает и порой очень неинтересно. В художественном отношении выделяется повесть из жизни рыбаков „У воды".

Критик Горнфельд подчеркивает у него настойчивость, с которой он делает своих героев возвышенными идеалистами. Но эта настойчивость продиктована самою жизнью и условиями, в которых жил бывший ссыльный. Деятели 90-х г. г. и прежние были представителями практического идеализма. Их не надо было выдумывать. Жаль, что Н. М. Осиповичу не удалось для своих интересных наблюдений найти достаточно яркие художественные воплощения.

Во всех произведениях этой эпохи уже нет беспросветного пессимизма и самого мрачного отчаяния. Все громче раздается песнь единения, но и эта песнь не может заглушить основной ноты русско-еврейской литературы. Это особенно чувствуешь, когда сравниваешь творчество еврейских художников эпохи подъема с творчеством русских художников „знаньевцев".

ГЛАВА XIII.

После 1905 года. Разгром и распад общественности. Роман „Пыль" Андрея Соболя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

После 1905 года начинается уже новый период. Общественная и политическая реакция породила ряд пессимистических произведений, подводящих итоги пережитому. М. Арцыбашев, О. Миртов, Р. Григорьев, Ив. Новиков, Борис Зайцев, Верхоустинский, Зинаида Гиппиус, Винниченко, Ропшин постарались осветить то, что было. Они не столько осветили, сколько затемнили недавнее прошлое.

Молодой еврейский беллетрист А. Соболь, побывавший в каторжной тюрьме, подошел к той же теме о недавнем времени, о мертвой зыби, о коне-бледном, о последней черте. Несомненно талантливый, глубоко-искренний и бесстрашно-правдивый, несколько истерично настроенный, он громко говорит о том, о чем молчат и что таят про себя, в целом ряде произведений из жизни революционеров-террористов. Его „Закон" в сборнике „Книга" по беспощадному реализму и смелому анализу напоминает роман Ропшина, подошедшего к проблеме политического убийства. Жаль только, что в конце рассказа автор впадает в андреевщину и перепевает конец рассказа „Тьма" (сцена ареста), но для нас в особенности важен роман его „Пыль".

Этот роман производит сильное впечатление. Автор рассказывает, подобно Ропшину, о группе террористов, подготовляющих свое выступление. Тут и евреи-интеллигенты, и русский рабочий. Они работают на фоне уже растущей распыленности. А. Соболь поднимает вопрос об отношении русской передовой интеллигенции и сознательных рабочих к еврейским деятелям и к еврейскому народу вообще.

Говоря об истерической подозрительности своих издерганных преследованиями героев, он сам болезненно-подозрителен. Он слишком подчеркивает переживания евреев-интеллигентов. Их трагедия не в том, что они чувствуют себя иностранцами, пылинками, которые несет ветер, их трагедия в том, что вместе с нарастанием общественной распыленности они, как и русские деятели, оторваны от коллектива, от почвы, от родины, от великого братства угнетенных всех стран.

И напрасно Андрей Соболь так настойчиво уверяет подобно восьмидесятникам, что у евреев поневоле никогда не будет родины. А разве у нас, русских, эта родина уже завоевана? Разве не отнимают ее у нас темные силы, стремящиеся превратить сплоченных граждан в обывательскую пыль?

Болезненно острые переживания заставляют автора видеть даже в революционной среде скрытый антисемитизм, иногда бессознательный, который просыпается в критические моменты.

Болезненно-острые переживания вырывают из уст молодого художника тяжелые, безотрадные слова в конце романа: „*и страшно жить*“.

На ваших глазах своим унынием и страхом окружающие маловеры заражают главного героя. Те же настроения сообщает и автор читателям.

В этом романе особенно сильно и глубоко пережиты те страницы, где герои на чужбине вспоминают о России, о ее березках.

„Чем ярче и светлее здесь, тем сильнее, почти до боли хочется туда, где тает снег, где прыгают грачи, где по вечерам румянится тихое зимнее небо за дальней рощей“.

Когда еврей-революционер возвращается в Россию, он плачет, когда слышит благовест русских церквей. Об этой боли изгнанничества плачет прекраснейшими слезами вся русско-еврейская литература.

———

В юбилейном номере „Еврейской Жизни“ (№ 14—15), посвященном Х. М. Бялику, сошлись в одну братскую семью художники-жаргонисты и русские поэты. Тут и С. Абрамович, и Л. Яффе, и С. А. Ан-ский, и М. Гершензон, и Вячеслав Иванов, и Федор Сологуб, и Андрей Соболь, и А. И. Куприн, и Вл. Короленко, и Ив. Бунин, и М. Горький. Сошлись и свои и чужие не чужим и получужие своим, приветствуя певца „трижды скованного народа“,—певца, гневные песни которого мы знаем лишь по переводам русских и еврейских писателей.

Этот номер „Еврейской Жизни“—исторический: впервые так ярко подчеркивается единение художников разных национальностей, но единой страны. Страдальческий крик поэта, бросившего миру на языке библии свое „Доколе, доколе, доколе“, повторяют и русский поэт, и еврейский художник. Оба они заговорили на языке братства и человеческой солидарности. Этого единения национальностей хочет сама историческая действительность, хочет живая Россия. Темные силы стремятся своих сделать „чужими“, историческая необходимость „чужих“ делает своими. Трижды скованный народ создал литературу, в которой слишком чувствуется его скованность. У свободного народа свободной страны будут новые певцы и споют они новые песни. В этих песнях вместо плача, стона и горя и вечного припева „страшно жить“ зазвучит радостное „ныне отпущаещи“, и восстанет для новой жизни „род последний для рабства и *первый для радостной воли*“. И это будет. И это не может не быть.

СОДЕРЖАНИЕ.

Р. Ц. № 28 Москва.